

I808976



СЕРГЕЙ
ВЯКУЛОВ

РОДОВОЕ
ДЕРЕВО



СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

РОДОВОЕ ДРЕВО

СТИХИ И ПОЭМЫ



- Викулов С. В.**
В43 Родовое древо. Стихи и поэмы. М.,
«Современник», 1975.
285 с. с илл. (Б-ка поэзии «Россия»)

В книгу вошли лучшие стихотворения, выдержавшие проверку временем, посвященные Родине, сельским женикам Севера

Поэт размышляет о повседневных заботах земляков, остро ощущает кровную связь между тем и настоящим, между поколениями людей, ших на родной земле

В 70402—153
М106(03)—75 114—75

Р2

Родился я в Белозерском краю, в деревне Емельяновской, в двадцати километрах от самого древнего, пожалуй, на севере России города Белозерска, первое упоминание о котором относится к 862 году. Расположенный на берегу Белого озера—самого большого среди бесчисленных на Вологодчине озер, Белозерск для нас, деревенских мальчишек, был пределом мечтаний! Не было большей радости, чем та, когда отец, заложив возок с каким-нибудь немудрящим крестьянским товаром, отправлялся в город, на торг или на ярмарку, и усаживал в передке телеги рядом с собою и меня...

Подъезжали к Белозерску ранним утром, когда небо, сплошь в куполах церквей и храмов, видневшихся из-за «вала» — земляной крепости и по сторонам ее, — минималось зарей, а озеро кудрявилось белыми барашками, на которых уже плясали рыбацкие паруса, а на обводном канале, встречные, басовито гудели белые пароходы...

Мальчишескому воображению представлялось, что там, за озером, уже край земли, и лишь потом узналось, что из нашего озера берет начало Шексна, а она впадает в Волгу, а Волга где-то далеко-далеко встречается с морем... О море мы только мечтали, а вот побывать в соседнем Кириллове — хотели. Там, по рассказам очевидцев, вознесся каменными башнями над Сиверским озером диковинно-красивый монастырь, а неподалеку от него, над Бородаевским озером, еще и другой — Ферапонтов, главный храм которого расписан изумительно благолепными картинами, не тускнеющими от времени (откуда было знать мужикам, что эти «картины» принадлежали кисти великого Дионисия!).

Впрочем, наш Белозерский край знаменит не только древними архитектурными ансамблями, древней живописью, но еще и подлинно народным, удивительно богатым и многокрасочным фольклором. Это сюда приезжали записывать сказки, песни, частушки, обряды в 1908 году братья Б. и М. Соколовы... Многие сказки, вошедшие в их знаменитую книгу, и песни, особенно свадебные и хороводные, и еще частушки я знал в ту пору, когда о существовании записей братьев Соколовых и не подозревал. И, конечно же, не понимал, каким кладом владею, каким воздухом поэзии дышу, просто слушал, просто запоминал, просто пел и рассказывал сам... Но, наверное, не случайно, что первые рифмованные строчки у меня появились в результате вдруг пришедшей в голову деревенскому подростку «блажи» — переложить на стихи услышанную сказку («как у Пушкина!»). После я собирал и обрабатывал наш северный фольклор, и особенно частушки, широко бытовавшие в наших деревнях еще и в 50—60-е годы.

Работа над фольклором показала мне, что народу никогда не была чужда поэзия, что желание сказать «метко» (образно), и притом — «складно» (в рифму), в равной степени всерьез и в шутку, живет в нем с тех пор, как он стал помнить себя. Не только песни — даже пословицы и поговорки, даже загадки у него, смотришь, то и дело рифмуются. Да еще как! «Рассыпался горох на семьдесят дорог, никому не собрать — ни попам, ни дьякам, ни нам, дуракам» (звезды).

И еще я понял: все художественные трапы, применяемые народом-поэтом, служат не затемнению смысла, а наоборот, — подчеркиванию его! Эту же веру, как я узнал потом, исповедовали все наши великие поэты.

Думаю, после всего сказанного можно было бы и не добавлять, что мне чужда поэзия заузная, я бы сказал — ребусная, формалистическая, прикрывающая свое скудоумие, пустопорожность ложным глубокомыслием, внешним украшательством. Мое кредо: если у тебя есть что сказать, говори ясно, так, чтобы тебя поняли. Слова, даже зарифмованные и ритмически организованные, существуют не для того, чтобы сотрясать воздух, а для того, чтобы передавать мысль. Мысль — главное в поэзии. Причем мысль не шаблонная, не затасканная, а новая, глубокая, общественно значимая, отражающая твое мировоззрение, без которого вообще поэта быть не может.

ОНА НЕ СКАЖЕТ...

МОНОЛОГ ПРИРОДЫ

Я — Природа. Я — великий мастер.
Вечный мастер жизни. Я могу,
Человек, тебе за соучастье
подарить —

 в моей все это власти! —
гриб в лесу, ромашку на лугу,
небо в час восхода и заката,
иву над рекой...

И наконец,
солнцем прокаленный, рыжеватый
хлебный колос! Как всему венец...
Только ты

 мой дар, мое уменье,
не прими за дань: я не раба.
Не забудь: ты сам —

 мое творенье!
И у нас с тобой — одна судьба!
Да, ты вырос. Ты простился с детством.
Шире — что ни год! — твои шаги...
Но не занимайся самоедством!
И былинку даже, что в наследство
я тебе вручила,
береги!
Даже волка — вдруг да он последний...
Уничтожишь (зверь —

 не карандаш!) —
с помощью сложнейших вычислений
и машин новейших не создашь.

Мы с тобой дорогою одною
Катимся — ни часа врозь, ни дня
И не можешь быть ты надо мною,
Как не можешь быть
и вне меня.



ОНА НЕ СКАЖЕТ...

1

Услышу ль сосен шум в полдневный час,
журчанье ль струй средь камушков у брода, —
о люди, мысляю я, у всех у нас
есть мать одна

по имени Природа!

У ней для всех хватает доброты...
И мы живем, запечатлев навеки
в душе

ее прекрасные черты —
поля, луга, леса, моря и реки.

2

Придите к ней, когда у вас печаль,
и, мудрая, врачуя вашу душу,
Природа распахнет пред вами даль
и ветром, как рукой, глаза осушит,

представит вам сто радостных примет,
ромашек простодушных «чет» и «нечет»,
и вечное: «Все суета сует» —
на языке осинок налепечет.

3

...И если безмятежности полна
душа, —
справляйте пир с Природой рядом!

Отзывчивая, щедрая, она
ничем вам не испортит вашу радость;

краснее окуневого пера
зажжет зарю рыбацкую над плесом,
удачей наградит, и для костра —
сварить уху — валежника подбросит...

4

Три клада у Природы есть: вода,
земля и воздух —
три ее основы.

Какая бы ни грянула беда:
целы они — все возродится снова.

Но если... Впрочем, в наш жестокий век
понятно всем, что это если значит.

О человек! Природа-мать ни рек
и ни морей

от глаз твоих не прячет,
ни росных трав, ни голубых небес...

Цени ее доверие, Природы!

Не обмани его!

И в темный лес

входи, как в храм под мраморные своды.

5

Ты — Человек. Ты — царь Природы. Так,
поскольку все в ней сущее подвластно
тебе... Живи, сверяя каждый шаг
с Природою — и будет все прекрасно!

И царские замашки не лелей

в душе ч не давай себе свободы...

Ты — царь Природы, так.
Но знай: трудней
почувствовать себя венцом Природы!

6

Природу покорить?! Ничьи уста
надменной слов не молвили отроду.
Рабыней нашей — логика проста —
намерзались видеть мы Природу.

объезженной лошадкой: повернешь
куда захочешь — лишь тряхни уздечкой...
Мы — дерзкие сыны ее! И все ж,
и все ж нам от нее зависеть вечно!

7

...Малыш, припав к груди беззубым ртом,
улыбчиво кося на маму глазом,
еще совсем не ведает о том,
как многим он ей, в сущности, обязан.
Не замечает он ни доброты,
ни ласки материнской, ни заботы...
Ты — взрослый. Ешь и пьешь. И рвешь цветы.
Цени Природы-матери щедроты!

8

Но ты, оставшись с ней наедине,
легко решаешь: «К черту берендейство!
Кому-то можно, видите ль, а мне
нельзя?!» И торжествует вновь заливейство.
Дымится лес. И пучится река
от взрыва... Но ни жалобы, ни вскрика

тебе вослед. Лишь лямки рюкзака
скрипят...

Увы, Природа безъязыка.

9

Взглянув на то, что смято, сметено
в очередном разбое или раже,
не утешай себя, что все равно
Природа никому о том не скажет.

Она не скажет, да... Но не простит!
И час настанет: лично ли, заочно —
она тебе жестоко отомстит!
А не тебе — так сыну. Это точно.

10

Случится даль да глушь нам одолеть —
мы шутим, сбросив белые перчатки:
«Закон — тайга, а прокурор — медведь!»
И в ствол вгоняем порцию свинчатки.

Палим во что попало — жаден глаз! —
и рубим, и взрываем, и корежим...
Природа-мать ждет милостей от нас.
Взять их у нас она, увы, не может.

11

«Я не люблю природу! С детских лет
питаю неприязнь к полям и рекам». —
Слыхали вы хоть раз от человека
слова такие?

— Нет.

— Я тоже нет.

Все, как один, на сотнях языков
клянутся ей в любви неистребимой.

Но кто же, кто «настави синяком»
ей, всеми нами преданно любимой?!

12

От берегов, закованных в гранит,
от улиц, где ни ямок и ни кочек,
нас тянет в луг ли, в лес ли, где звенит
не речка даже — малый ручеечек.

Ах, плохо ль у воды ли, на воде —
кто станет спорить! Но все реже, реже
встречаем мы зеленый берег, где
пойдешь босой — и ногу не обречешь.

13

Какие снятся рекам чудеса —
нетрудно угадать теперь, пожалуй,
в глубинах отраженные леса
и рыбы, как блестящие кинжалы;

продравшийся сквозь чашу напролом
и капли с губ роняющий сохатый,
и белый лебедь, розовым крылом
по синей глади бьющий, как лопатой.

14

Лес — самая высокая трава.
Я в той траве — не больше как букашка.
Взгляну на ель — кружится голова
и в самом деле падает фуражка.

16

А лес шумит... И словно слышу я
глас чей-то высоко над головою:
«Смотри не наступи на муравья:
он пред тобой, как ты — передо мною».

15

Лес для тебя, я знаю, лишь дрова.
Но для зверей и птиц он, лес, — жилище.
И закатать по локоть рукава
ты не спеши, сжимая топориче;

не учиняй в чужом доме разбой,
топор вгоняя в комель с разворота,
лишь только потому, что пред тобой
в тот дом всегда распахнуты ворота.

16

Ах, трудно ли, ножом вооружась,
раздеть березу — тихую простушку,
и нацедить прохладной крови кружку,
и затоптать ее сорочку в грязь?

Она в лесу останется стоять,
как черный вскрик о том, что где-то рыщет
двуногий зверь с ножом за голенищем...
И роща будет в страхе трепетать.

17

Вам, Роберт, Гера, Феликс,
в чьи глаза
сияла гладь священного Байкала,
вам, кто кинжалом имя вырезал
на лиственницах, выдосших на скалах:

вам, Эрик, Эсмеральда, Ибрагим, —
романтикам, то бишь «землепроходцам»,
пою я славу!.. Вдруг да не придется
предаваться вам чем-нибудь крутым.

18

Твержу, на тополь глядя сквозь окна:
— Есть смысл в великом жизненном законе:
«Когда хотя бы дерево одно
ты посадил — не зря гостил на свете».

Но коль тебе на это, старина,
ни разума, ни воли недостало —
не тронь хотя бы тополь у окна...
И этого с тебя не будет мало!

19

«Зеленый друг» — так лишем мы помыслы
и говорим про лес. И в час досуга
мы навестить всегда готовы друга:
— В лес, в лес! — И он одаривает нас
всем, чем богат. Там травы до колен,
а там грибы... Не сбейся только с круга.

Но честно ль это: все забрать у друга
и ничего не дать ему взамен?!

20

Что там ни говори, а факт такой,
сколь ни был бы тебе он неприятен:
в тайге теперь медвежьих уголков
не больше, чем на карте белых пятен.

Гремит тайга! Конец медвежьим снам
во тьме непотревоженной берлоги!
— А не везде еще, где нужно нам,
повален лес, проложены дороги.

21

Да, силы стали слишком неравны —
В наш век машин, с живой природой в спорте,
мы, люди, коль взглянуть со стороны, —
как два боксера разных категорий.

Нам не в пример — у птиц и у зверей
все та же скорость, та же все защита:
клыки да когти, крылья да копыта...
Командуй «брек», судья. Да поскорей!

22

В поля я вышел, Сто в полях дорог...
А на душе досада и тревога:
кто где прохвать вздумал, кто где смог —
там и проехал. И легла дорога
След гусениц: и снова след колес,
глубокий след по озими, по лугу...
Такое чувство: будто кто манит
жестоко и безвинно рану другу.

23

От блеска рилп и праведных трудов,
случайной снудно сумочки илипичка,
бежим, бежим, бежим из городов
на «Волгах», мотоциклах, электричках,
чтоб отдышаться воздухом равнин
и споспаться в тишине на даче...

Да, верно: что имеем — не храним,
а потерявши — тоже верно — плачем!

24

...И вот мы на Луне, в конце концов,
земляне! Обернулась сказка былью.
Мы вышли на «крыльцо».
И нам в лицо
пахнуло нежилою мертвой пылью.
А что там — дальше? Может, пыль опять?
Сигналим в космос мы — ответа нету...
И так нам, людям, хочется обнять
счастливого из всех
свою планету!

25

Кто-кто, а мы-то знаем, что она
одна такая в солнечной системе.
Несется, звона птичьего полна,
и плеска волн, и шелеста растений...

На ней есть жизнь. И, как всему вещам,
на ней есть разум.
Он могуч. Он может
жизнь эту иль украсить и умножить,
иль в прах ее повергнуть, наконец.

26

Я говорю: ты болен, шар земной.
В твоей коре ракеты, как нарывы.
Тебя, не раз крещенного войной,
вновь лихорадят атомные взрывы.

Ты плохо спишь — гудят твои бока.
Ты трудно дышишь — копоть в атмосфере.
И страшно мне, что этого пока
еще не осознал ты в полной мере.

27

Когда бы я не знал, как бьет хвостом
на звонкой жилке щука, как под осень
ядренный рыжик, стоя под кустом,
росу как будто в рюмочке подносит;

как журавли отчальную трубят,
как эхо

повторяет рев лосиный, —
боюсь, я не любил бы так тебя,
как я сейчас люблю тебя, Россия!

28

Когда б я знал лишь, как на площадях
шуршит асфальт от шин, горят неоны,
как распивают квас в очередях
и сотрясают небо стадионы;

как мутная ленивая вода
течет в ущельях каменных кварталов —
в Родину любил бы и тогда,
но мне б всю жизнь чего-то не хватало...

К ОЗЕРУ

Не еду, не еду, не еду
на юг!
«До свиданья!» — кричу
влюбленному в Ялту соседу
и на

Ярославский лечу

Ни паспорта и ни путевки
со мною, но я не грущу:
сперва погостю у гетки,
у дядьки потом погощу.
Хочу разделить их беседу,
их песни послушать хочу —

Не еду на юг я, не еду —
как штица, на север лечу!
Плевать мне на прелести юга,
соседушка! Мне не нужны
ни лежбища праздного люда,
ни плеск черноморской волны,
ни легкие, в общем, победы
над кем-то, ни тень «с бородой»

Я к озеру, к озеру еду
с глубокой и чистой водой!
Оно, голубое, глядится
словно весь день в небеса.
И, словно густые ресницы,
над ним нависают леса.



Рыбачит на нем лишь гагара:
нырнет — полчаса не видать.
Да выводков кряковых пара
жирует — им там благодать;
да чайки беспечные выются
иль плавают стаей одной,
белея, как сахар на блюде,
на блюде с зеленой каймой.

А сколько в том озере рыбы!
Закинешь — на дно поплавок.
Спасибо, природа, спасибо
тебе за такой уголок!
За то, что, считая потери,
его ты хранишь до сих пор...

Я выеду в полдень на берег
с добычей — и вспыхнет костер!
Забьют плавниками упруго
в ведерке моем окуньки.
И запросто с ближнего луга
нагрянут к ухе земляки.
Я крикну, гостей привечая,
с улыбкою через плечо:
«За в к у с н о, друзья, не ручаюсь,
ручаюсь лишь за г о р я ч о!»

«И то прибежали недаром!» —
ответят, присев у ведра,
и станут хвалить «уховара»:
на это они мастера!
И тысячу всяких историй
расскажут («Записывай, черт!»).
Ах, озеро, мой санаторий,
мой лучший из лучших курорт!

Спасибо тебе! Я не скрою
секрет от тебя небольшой:
над светлой твоею водою
и сам я светлею душой!

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Громобойные тюки
взметывая, вьюча,
на луга из-за реки
накатилась туча.
И пошла — быть не быть!
как из пулемета
поливать нас, бомбить
с птичьего полета.

Ну а мы ей: «Дуй!
Поддавай жару!
Нам такой сабантуй
по душе, пожалуй.
Ведь без ливней да гроз,
без тревог, без пота
сенокос не сенокос,
черная работа».

По морям, по волнам
мы бредем босые.
Ой, не крикнуть ли нам
да на всю Россию:
«Дождик, дождик, пуще,
чтобы травка гуще,
чтобы выше лен, чтобы
хоровами грибы,
ягоды кистями —
собирай горстями!»



Дождь, дождь, припусти,
ваше благородье,
чтоб успело подрасти
все, что в огороде.
Чтобы встали под горой,
крякнув: «Все в порядке!»
новобранцами в строй
кочаны на грядке.

Расплеснись по полосам,
поднеси напиток
пострадавшим овсам,
ячменям, пшеницам.
Заряди на три часа,
чтоб не было мало,
чтоб не только по усам,
чтобы в рот попало!

Дождик, лей, лей, лей
на меня и на людей!
Что касается меня —
то хлещи хоть полдня,
я не поперечу.
Я рубашку скину:
полощи мне плечи,
полощи мне спину.

Наклонюсь: «Вот добро!
Ну, еще кружку!
Ну, еще одно ведро!
Ну, еще кадушку!

Не скупись, брат! Уважь!
Я ж таскал копны...»

И вошел дождик в раж
и в сто ног топнул
на моей на спине.
Брызги из-под пяток!

Ох и весело мне
под дождем, ребята!

КНЯЖИЦА

Когда наступает
хлебов косовица,
в лесу поспеваает
княжица, княжица.
Ах, что за услада,
утеха для изгляда,
вкуснее и слаще
малины из сада!

Коль женщины наши
в лесу сенокосят,
для Танек, для Яшек
княжицу приносят.
Зеленые листья,
багряные кисти
на солнце сверкают
рубинов лучистей.

— Книжица, княжица,
лисичкин подарок!
Мальчишечьи лица
светлеют недаром.

Княжица, княжица —
не зря говорится,
Ее, зягть, растила
княжна яль царица.

Растила до срока,
осой поливала,

чтоб наполнилась соком,
скорей соревала.
Как хвоя ресницы
у этой царицы,
а щеки, а губы
румяней княжицы.
Лесные владенья ее
не обмерить.

Ей служат с раденьем
и птицы и звери.
И, может, лисица
там главный садовник...

Кистями княжица
ложится в ладони.
Не как угощенье
для Мишки иль Васьки,
а как продолжение
маманькиной сказки.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД

К погожему рассвету приурочив
событие,
 в предчувствии утрат,
осенние березовые рощи
несметным войском вышли на парад.
И радостна была она для взгляда
и почему-то трогала до слез —
торжественность последнего парада
осенних облетающих берез.

Ворвется скоро зимник в их пределы —
и все... И лето канет за чертой.
Но, прежде чем на землю ляжет белый
снег, —

 долго будет падать золотой.
И, ветками озябшими кивая,
березы будут елям напевать
одно и то ж: «До следующего мая!
Счастливо только б
перезимовать...»

ТРИ СОСНЫ

Ах как они стояли, боже мой,
те три сосны!.. Бывало, что под вечер
спешишь с корзиной с озера домой
и ждешь, все ждешь,

счастливый, с ними встреча.

В своем краю и на своей земле
они стояли посредине луга,
неотстранясь вальяжно друг от друга,
как три богатыря навеселе.

Стояли и шумели... И чубы
сплетали. А в чубах сновали птахи.
И крепко пахли смолкой их рубахи,
и бронзою поблескивали лбы.

Никто в деревне не считал им лет:
казалось всем — стоят они тут вечно.

Слешу опять к знакомому крылечку.

Вот луг. Вот та тропка...

А сосен нет.

Не узнаю знакомые места.

Гляжу на три широких пня среди луга
и чуть не плачу: горько...

Словно друга

живых я, возвратившись, не застал.

Не слышно шума сосен с высоты:

распилены и свезены к сараю...

«Что с вами, люди? — голову ломаю. —

Такой не пощадили красоты!»

Ногою ухнув в яму возле пня,
вновь падаю, хватаясь за ольшину.
А та, сломившись сахарно,
вершину
беспамятно роняет на меня.

Я вздрагиваю: кажется мне вдруг,
что я один на нежилой планете...
И слышу чье-то пенье — это ветер
шумит в ветвях... Печален этот звук.

Душа внимает чудным голосам,
торжественно рождающимся в небе...
Я не дышу. Я слушаю молебен
о ниспосланье радости лесам.

Черный веер хвоста,
дуг рубиновых рубины,
по бокам, словно латы.
два сильных крыла,
когти как у орла,
клюв почти ястребиный —
мать-природа ему все с избытком дала.

Научила негромкой, но трепетной речи...
И могучим
сумел он себя осознать!
И остался навеки на диво беспечен:
кто там, что там внизу —
наплевать, наплевать!..

Стают снѣги в лесах, устоится погода,
он, доверясь привычной ему высоте,
древний «стих»
основателя, может быть, рода
бормотать начинает еще в темноте:

«Тэк-тэк-тэк!» Запрокинуто жаркое горло,
черный веер распахнут во всю ширину,
и расстегнуты латы, и выгнута гордо
грудь
в ревнивую, в чуткую ту тишину.

«Тэк-тэк-тэк!» Пусть расколется небо
и треснет
под тоскою земля! Для него до поры
и в мире нет ничего, кроме собственной песни
и томительной этой любовной игры.

Но на деле — ах, столько веков миновало! —
в мир давно уж на смену бесшумной стреле
громовые, литые пришли самоналы —
то смертей, коль без промаха,
в каждом стволе!

Ну а он все поет...

Он, как прежде, бормочет
«стих» свой древний —

и слеп в это время, и глух.

И швы отмеряет к нему между кочек
смерть...

И носятся в воздухе перья да пух,
как упал он. Краснеет брусничинкой спелой
в клюве капелька крови... Бледнеет заря.

Не ошибся счастливый охотник прицелом:

очень точно направил смертельный заряд!

Подожел: «Ух красавец!» — и поднял, помешкав.

Крылья — в стороны сразу: «Не птица, а царь!»

И, качнув головою, добавил с усмешкой:

«Не глухарь!

Удивительный просто глухарь!»

МЕДВЕДЬ

По лесу, ломая валежины лапами,
Медведь не крадется — бредет напролом.
Свое государство! И эти палаты
Соснового бора, и тот бурелом...

Захочет — спиною о елку почешется,
Над тонкой березкою вдоволь потешится:
Взберется, за волосы схватит, блажной, —
И ну до земли нагибать ее, нежную...
Плевать, что сычи у него за спиной
За это его обзывают невеждою!

Наскучит — и снова, беспечен, шатается,
Нет мяса — овсяною кашей питается:
Насеял мужик возле леса овса.
Меж тем во владеньях спокойствия прежнего
Не стало: зарезали волки лося
И жаждут попробовать сала медвежьего.

А он, уповая на силу былинную,
Все это считает за шалость невинную,
И ухом — ни тем, ни другим — не ведет.
От стужи в берлогу зароется, увалень,
И лапищу чуть не полгода сосет:
Ему все равно, что о нем бы ни думали!

Сопит в полноздри он... А кто-то украдкою
Его обложил и под левой лопаткою
Щекочет уже заостренным колом.

**Как взрыв, разгибает он тело бугристое
И в рост, разъяренный, идет напролом!
Но поздно. Грохочут жестокие выстрелы...**

КАРТОШКА И ЦВЕТЫ

И. А. Ожерелкову

Весной —
дела житейские проты —
сажали все картошку в огороде.
А он сажал картошку и цветы,
хотя была картошка только в моде.

Весь день гремел протезным каблуком
меж гряд — с войны вернулся он калекой.
И все его считали чудачком,
хотя он был нормальным человеком.

Но шел иной за тридцать три версты,
чтоб чудом чудачка
полюбоваться.
А он дарил, дарил, дарил цветы,
вновь чудачком рискуя показаться.

И дрогнули, как ни были глухи,
сердца людей:
все чаще под окошком,
где до сих пор жирели дыпухи,
цветы вставляли. Рядышком с картошкой!

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

О, эта зимняя дорога
и этот белый бег саней!

Отец кричит: «Держись, Серега!
Гляди, Серега, веселей!
Да нос-то, нос-то спрячь в овчину
Мороз — он живо оторвет...»

А мне обидно, что мужчину
отец во мне не признает.
И в терпях, хоть ветер выжал
слезу, — так взрослым надлежит.
И я гляжу вперед
и вижу,
как снег горит, как мерин рыжий,
весь рыжий, в белое бежит.

как дремлют стайкой на березе
чернее улья поляши...

И скрип полозьев, скрип полозьев
мне словно песни для души.

О чем она?

О том, что нету
конца дорожке стоябовой...

И вняв отцовскому совету
в тучах я прячусь с головой.

И там, зажмурившись в восторге,

¹ Поляши — тетерева.

я обнаруживаю вдруг,
что стали валенки просторней,
и рукава, и весь тулуп.
Отец — ему мороз не штука
и не задача дальний путь —
кричит на мерина: «А ну-ка
прибавь, родименький, чуть-чуть!
Совсем Сережку заморозил».

И мерин, дернув силой всей,
бежит...
А сзади скрип полозьев,
как крик встревоженных гусей.
И я их слушаю, мальчонка, —
мне только семь неполных лет, —
и тихо думаю о чем-то,
чем у отца названья нет.
И согреваюсь понемногу,
к отцу придвинувшись тесней...

О, эта зимняя дорога
и этот белый бег саней...

КИСТЬ РЯБИНЫ

(Осенние этюды)

* * *

...И все же лжешь ты, в паспорте строка:
я осенью родился, а не летом.

И матери свидетельство об этом
важней мне «метрик», взятых с потолка.

В тот день, как в деревнях заведено,
ей бабушка нагрела спешно баньку...

«...И вот лежим с тобой и слышим батьку,
рассказывала мать мне. — Он в окно
сначала постучал — видать, робел.

Потом ввалился... прямо из овина!

В руках — рябина, в волосах — мякина...

Вошел и в первую очередь — к тебе.

Доволен, вижу, радуется: сын!

Взглянув, как ты посапываешь сладко,

сказал шутливо: «Ох, Сережка с маткой!

Ну, что бы подождать! Один овин
домолотить осталось...»

Те слова,

знать, потому и врезались мне в память,
что я,

с тобою в баньке лежа, парень,

о том же сокрушалась и сама.

Закружат батьку, думала, дела!

А я могла цепом-то, и любила!»

И улыбалась, вспомнив: «А рябина

в тот день, когда тебя я родила,

была такой краснушей — не сказать!
Она росла у самого порога...
Ну, батько, чтоб порадовать немного
меня,
и вздумал кисточку сорвать.

Слаба теперь уж памятью-то я,
а это, вишь ты, помню... Ведь не часто
вниманием сердечным да участием
нас баловали в те поры ну жья.

* * *

Осенний я. Чем дальше жизнь идет,
тем все люблю мне это время года,
когда дожди тихи, когда природе,
грустя о прошлом, будущим живет.

Все и будущем — дано одной лишь ей
надяться, когда уже все в прошлом.
И вот она, соря в подзах парошей,
любуется озимых яркой прошвой
и поднимает в небо журавлей.
«Кру, кру!» — над лесом, голым и немым,
над золотыми скирдами соломы
и надо мной, мальцом белоголовым,
рукой средь поля машущим вслед им.

Мне и сейчас он помнится: «кру, кру!» —
крик журавлей, на юг летящих длинненько.
И дым голубоватый над овином,
и дух ржаной наполовину с зыном,
и стук цепов согласных поутру.

И озимь, как залог, что не навек
полям — снега, а журавлям — чужбина,
что вновь у бани расцветет рябина...
Лишь старше на год станет человек.

* * *

Что помню я еще о той поре?
Отаву... Лен, разоспанный на лежку...
Капусту... И конечно же, картошку
картошку, испеченную в костре.
О, как мы пировали, ребятя,
и как смешно, я помню, «танцевали»,
когда, от жара морщась, доставали
обугленные клубни из огня.
В нас оживал, должно быть, предков дух:
огонь и пища — что еще нам нужно!
И шкворкали мы, и хворост дружно
в костер бросали, чтоб он не потух.

А взрослые — земля была щедра —
нас издали строжили понарошку
и вместе с нами дули на картошку,
на корточки присев возле костра.
И вновь, склонясь, с корзинками брели
и ж взрыхленными плугом боровками
и красными от холода руками
картошку выбирали из земли.
Потом мешки вздымали не спеша,
телегу до отказа нагружая...
И вечным благовестием урожая
крестьянская их наполнилась душа.



Теперь те дни безмерно далеки.
Но тянет, тянет осенью в деревню,
когда в ней источится дух варенья
и уберутся все отпускники.
Когда там бродят зябко по стерне
одни стада. А стежки поразмыло.
Когда природа кажется унылой,
печальной и безрадостной. А мне...
А мне она, когда идут дожди
и омута полны листвой опавшей, —
мне кажется тогда она уставшей,
как мать с новорожденным у груди,
и просветленной...
Безмятежен взор
осенней, долг исполнившей природы.
Просторны рощи и прозрачны воды,
и тих земли и неба разговор.
Спят где-то голосистые грома,
скатившись гулко с плеч высоких лета...
Лишь слушают тоскливый посвист ветра
под крышами глухие закрома.



А в избах, у порогов, сапоги
резиновые — нынешняя мода.
А в кадках — леса дар и огорода,
а в печках — с мясом щи
и пироги.
Спешить куда? Начнется день едва,
а глядь — уже и вечер на крылечке.
И хлещет дождь в окошко. И в припечке
потрескивают весело дрова.

На улице — глаз выколи — темно.
Но вон, светя фонариком неярким,
с работы возвращаются доярки,
ребята пробираются в кино.
А старики, спровадивши внучат, —
им не тягаться с ними — клуб не близок, —
позевывая, смотрят телевизор.
«Скорей бы подморозило», — ворчат.
Всю ночь капель: буль, буль...
А по утрам
опять думы стекают с крыш покатых.
И, красные, на белых комьях ваты
рябины кисти рдеют между рам.

* * *

Когда огонь в печурке догорит,
а дождь зарядит будто бы навечно,
люблю я выйти в шубе на крылечко,
где дядька вечно что-то мастерит.
Поправив молотком в рубанке сталь,
то брус стругает дядька мой, то доску...
А я курю в сторонке папироску,
туманную оглядываю даль.
Какой отсюда на деревню вид!
Вон лес, куда я бегал за грибами.
Вон через речку мост. А вон и баня —
та самая... Она еще стоит.
Мы и теперь в ней моемся... А вон
пред банею вся в ягодах рябина.
И только мамы нет... И нет овина.
Подгнивший, на дрова распилен он.

Накрапывает дождь. И все сильнее
вспоминанья мне сжимают горло.

Нет, время, нет... Еще не все ты стерло,
не все ты стерло в памяти моей!

И начинаю я по одному
припоминать всех жителей посада.

Чей с япаю дом стоял?

И чей с ним рядом?

Кто в третьем, оплеченном, жил дому?

И в пятом, там, где листьями сорят
березоньки редеющие — осень,

и в двадцать пятом, возле старых сосен,
что тучей над деревнею парят?

И вслух считаю:

— Тридцать. тридцать два... —

А дядька уточняет:

— Было сорок. —

Я ежусь: холодок проник за ворот,
и зябко прячу руки в рукава.

ПИЛИ ИЗ РЕЧКИ КОНИ..

Реки — не человеки,
но и они — не вечны.
Страшно открыть такое
разуму вопреки.
Вот она — та дорога,
вот он — тот луг заречный,
мост, где была плотина...
Нет лишь самой реки.

Ласточек сколько было!
Нет...
Берега опали.
Галечник под ногами,
там, где была вода.
Господи, неужели
в детстве мы здесь купались?!
И неужель мой сверстник
здесь утонул тогда?!

Вздрагиваю: «Не сон ли?!»
Явь — гяжелый кошмар.
Грустно ступаю руслом,
думаю по пути
как она умирая —
солнечного ль удара
или — страшней — людского
сил не найдя сиести?!

Реченька — ах, узнать бы! —
 сколько тебе от роду
было и что ты, речка,
 видела на веку?
С камушка да на камень
 ты все струила воду
и наконец открылась
 первому мужику.

Он подошел напиться —
 воду взмутила щука,
из камышей поднялся
 выводок на крыло...
Плюнул мужик в ладони,
 крякнул — и начал тюкать:
лес мужику был нужен:
 «Место красно зело!»

В полдень, устав, купался...
 Думал, присев на бревна:
«Только бы сил достало...
 Лес-то — под облака!
Есть и полегше земли —
 ясно! Тайга огромна.
Есть... Но ведь тут-то, тут-то...
 Боже ты мой, река!»

А ведь река — не только
 рыбно там да красиво,
речка — еще дорога,
 банька на берегу...
И поднялись здесь избы,
 как и по всей России,
как и по всей России —
 окнами на реку.

Сколько с тех пор разливов
было — никто не помнит...
Щуки плескались в речке,
хвост у иных — с весло!
Черпали бабы речку,
пили из речки кони —
не становилась мельче...
Что же произошло?

Что же?.. Ступаю ложем
речки, как небо, древним:
здесь вот был Черный омут,
нынче — лишь бочажок...
Видимо, кто-то выше,
ниже моей деревни
меньше любил речушку,
плохо ее берег.

ЗЕРНО

В чем суть зерна? Ужели в том, чтоб стать
в конце концов мукою, пылью, прахом?

Нет, суть его в другом:
произрастать!

И лучше всех об этом знает пахарь.

В амбаре, на неструганых досках,
зерно, когда белым-бело в округе,
томится неизбежностью роста,
ждет часа своего под шорох высева.

Весною пахарь, как заведено,
на поле, где грачи кричат картаво,
зерно уронит в почву, и оно
произрастет. И будет в этом право!

Что в мире веселей, чем зеленыя?!
Что есть еще возвышенней, чем всходы?!
Вот-вот колосья выстанут, звеня...
И лгут, что все зависит от погоды!

ЗЕМЛЯ (Баллада)

Земля... Я только вымолвлю «земля» —
и предо мною — вот она! — поля.

Не горы, нет... И не пустынь пески, —
поля! Они душе моей близки.

И вижу я, как, завершая круг,
уже весь в мыле,
карько тащит плуг!

Напрягся — жилка каждая в струну...
А сзади непрестанно «ну» да «ну»,

да брань, да свист ременного кнута.
И всю весну такая маета!

Всю жизнь... А разобраться — ~~всё века~~
с тех пор, как он на милость мужика

однажды сдался...

Первая, она,
та борозда была и неровна,

и, что там говорить, не глубока,
и не длинна...

С тех пор прошли века.

И скоро грянет двадцать первый век!
Но не с нее ль

начался
Человек,

за труд, за пот, что пролил,
порадеть...

Она ему была не просто твердь
теперь,
не просто тропка под ногой —
кормилица!

И всякий смысл другой
утратила...

И вдаль через года,
через века рванулась борозда,

все глубже становясь и все ровней...
И пахарь, горбясь в ярости над ней

и погоняя мерина кнутом,
усталый, чаще думал все о том,

что Мать-земля, хотя на вид проста,
а нравом — шутки в сторону — крута!

Что за неуважение она
монетой той же платит всем сполна!

И если ты решился на обман
ее — не растопыривай карман.

Не пот пролил — потратил лишь слова, —
не торопись вставить за жернова.

И на чужой при этом каравай
не пяль глаза и рот не разевай,

а вместе с красным солнышком вставай
да свой, перекрестившись, затевай!

и не с квашни, а снова — с борозды,
коль жить в достатке хочешь, без нужды!

Не устарел он, пращуров завет,
и по сей день, хотя не мало лет

с тех пор прошло-пройчалось чередой...
Не конь теперь плетется бороздой

и не южик в дыггишках...

Та пора
минула — в поле ныне трактора.

И все ж земля,
достоинство храня
под натиском железного коня,

себя не перестала уважать
и с грима

не торопится

рожать!

Пока жива, пока на все годна,
от нас усердья требует она,

любви, и пониманья, и забот...

Так! Только так, а не

наоборот!

**И в наш двадцатый, в наш машинный век
все так же он немислим, Человек,**

без приложенья сил своих к земле...

Стол есть престол,

коль хлеб на том столе!

И МОЯ ЗАСЛУГА!

Позволь отдать тебе поклон,
великое Светило,
за то, что в этот год теплом
ты нас не обделило!

Гляжу, идя вдоль полосы,
с каким усердьем в час росы
твои лучи-пройдохи
пшеницу тянут за усы
и за уши горохи...

Да и в саду с тобой в ладу
дела идут блестяще.
На редкость в нынешнем году
ты, солнце, работаешь!

И в том, что нива не пуста,
что небывало рожь густа
и тянет медом с луга,
твоя, конечно, доброта,
но... и моя заслуга!

Ого, вставал я сколько раз,
когда еще ты спало,
пахал уже, когда ты глаз
еще не открывало!

И в час, когда ты на покой,
устав, за лес валилось,
вовсю еще я за рекой
работал, ваша милость!

И как работал! Неспроста
в полях такая красота.
И за красу такую
дай, брат, в горячие уста
тебя я поцелую!

ВЕСЕННИЙ БАЗАР

Люблю заглянуть на весенний базар.
Там — вплоть до последнего ряда —
отличный товар, ходовой говар,
а имя товару — р а с с а д а.

Рассада? А может, отрада? Да, да!
А может, надежда?
Я вежлив:
-- Отрады, — прошу, — положите сюда.
И горсть, если можно, надежды.

Дородная тетя — весенний загар
у ней на щеках под платочком, —
смеясь, подает мне веселый товар —
две горсти зеленых росточков.

И вновь в чернозем окунает до дна
ладони... И можно рвчаться:
надежды, которые людям она
сейчас раздает, возвратятся
под осень сюда... И прогнутся борта
машин, что придут с огорода.

У тети дородной в глазах доброта,
и вера — в глазах у народа.

А рядом, пуская махорочный дым,
и мрачен, и жалок, и скучен,
заезжий. Стоит гражданин, а пред ним
поджаренных семечек куча.

- Берите! — басит он. — Кому завернуть?
О, как ты смешон, человече!
Вот осень придет — и тебя помянуть
нам будет решительно нечем...

ОГОНЬ

Что в имени твоём заключено,
Огонь? Ну, например, когда темно
и мы, чтоб видеть, зажигаем свечку?..
Или когда пурга свистит в окно,
и к утру все оно замечено,
и мы, дрожа, растапливаем печку?

Для человека ты, Огонь, и свет,
но ты же и тепло. Тобой согрет,
морозы он легко одолевает.
Ты друг ему, Огонь, но ты и враг!
И горе, коль над крышею, как флаг,
вдруг ты взовьешься... А ведь так бывает?!

Задумавшись, гляжу я иногда
в далекие, жестокие года
и вдруг припоминаю с содроганьем,
что ты, Огонь, и казнь...

Да, да, — и казнь.

И часто

Правда,
что не отреклась
от правды,
шла к тебе на поруганье.

Но, к счастью, в этом также ты не весь,
Огонь. Ты — м е с т ь е щ е,

святая м е с т ь !

О, как испепелял ты наши души,
когда, вздымая в ярости ладонь:

«Огонь! — кричали мы. — Огонь!! Огонь!!!» —
пока не раскалялись жерла пушек.

Д о б р о и з л о в тебе заключено,
Огонь... Но не напрасно все равно
однажды — не униженный проситель, —
а гордый и бесстрашный Прометей
тебя, Огонь, похитил для людей,
во тьме блуждавших...
У богов похитил!

ТА ГРАНЬ

Если скоро и вправду сотрутся все грани
между городом, как говорят, и селом,
и ученые доки об этом «стиранье»
будут лишь вспоминать, как о давнем былом;

если вырастут даже свои Паганини
и в селе, и послушать концерт
города
будут рваться в село — все равно между ними
будет грань — очень пезкая грань! — и тогда.

Ни всеильный прогресс — он грядет! — и ни годы
не сотрут эту грань. Человек из села
будет вечно общаться с живою природой,
на земле — все на ней же! — справляя дела!

И все будет в нем жить эта древняя радость
ощущенья колосьев в зеленых ростках,
грузных гроздьев в ожившей лозе винограда,
листьев — в почках

и сладких плодов — в лепестках.

Будут воды сверкать бирюзово и ало,
соловьи будут горло росой полоскать.
Будет чистое небо... А это не мало!
Это все в городах и сейчас поискать.

И быть может: «Ищу подходящее место» —
скажет скромненько кто-то из нас на селе.
Ты, читатель, не спеи: еще неизвестно,
кто счастливей свой век

проживет на Земле.

ЗАЛЕТОЧКА

Через речку быструю, через плес
я кричала, девушка, перевоз:

— Спишь ты, что ли, лодочник! Э-ге-гей!
Мне бы на ту сторону поскорей.

Там сейчас гуляние, праздник там...
Но в ответ мне эхо лишь по кустам:
«Э-ге-гей!..»

Уж туфельки я сняла,
по колени в реченьку забрела

и машу косыночкой, и кричу,
и боюсь, что платице замочу...

Вижу: вышел на берег великан,
два крюка — ручищи дв — по бокам

И ко мне от будочки, от ворот
через речку быструю прямо вброд,

в новеньком костюмчике, в башмаках:
— Стой, Маруся! Я тебя на руках!

Поняла по выходке, по словам —
этой мой залеточка, мой Иван!

— Ванечка-а! Ванюшечка-а!..

— Помолчи!

— Ты хоть, Ваня, часики не мочи!

Глянь, тебе уж речка-то по карман,
сокол мой, орелик мой, этанян!

Зря не снял ты, Ванечка, пиджачок...
Ну иди ж, иди ко мне, дурачок!

Я тебя и мокрого обниму! —
И тяну я рученьки встречь ему:

— Обнимай!

Зачем тебе перевоз! —
Гаркнул, поднял на руки и понес.

А кругом — ну, надо же! — ни души...
— Ванечка... родименький, не спеши!

Пуще обнимаю я мил-дружка.
Ну, хотя бы кто-нибудь с бережка

глянул, как на Ваниных на руках
я плыву — головушка в облаках!..

3. ПЕРЛАМУТРОВЫЕ РЯДЫ

— Знаешь, брось ты эти вальсы,
Дай-ка ту, которую...

А. Твардовский

I

Только выбегу на крылечко,
только встану лицом к полям, —
и услышу, как по-за речкой
заиграет полубаян.

И заколет — ах! — как иголкой
сердце — станет невмочь ему...
Как оно на две части только
не расколется — не пойму!

И лечу я с горы ли, в гору —
в поле! Слушаю, замерев,
эти частые переборы,
колокольчиковый напев.

Он все явственнее, все ближе
к узкой лавинке за реку.
«Не споткнись, дорогой, смотри же!»
я шепчу-кричу игроку.

«Береги свой полубаянчик,
посильней прижимай к груди.
Аккуратнее, слышишь, мальчик,
ты по лавинке-то иди...»

II

Не упал-таки парень в воду
и тальянку свою пронес...
И она врывается с ходу,
долгожданная, в круг, к народу,
зажигательная — до слез!

И легко — не учи ученых! —
гнется, праздничная, в дугу.
Между двух половинок черных —
колокольчики на лугу.

Справа — видно на расстояние —
отражают — не свет звезды —
электрическое сиянье
перламутровые ряды.

Парни — к девочкам...
Будто ветром
закружило всех по лужку.

— Да поставьте же табуретку
развеселому игроку!

Сел, утерся игрок платочком
и ударил вновь по басам:
— Повальсировали — и точка:
время самое поплясать!

III

— Дайте круг, дайте круг!
Извини-подвинься, друг.
Искалечу ногу, если
попадется под каблук!

Друг — он понял, что это вызов, —
папиросу вдавил в песок,
топнул, хлопнул и без капризов
начал... С пятки да на носок,

а с носка да опять на пятку...
Барабанит руками в грудь!
То дробить начнет, то — вприсядку,
то еще словчит как-нибудь...

Наконец, -- на душе отрада! —
встал, траву примяв на лужку,
и, раскачиваясь для лада,
выпел-выговорил дружку:

— Ты пляши, пляши, товарищ,
дробь выколачивай,
на красивую мою
глаза не выворачивай!

Врезал шутку, как по заказу.
А за нею — еще одну.
И настроил гулянку сразу
на улыбчивую волну:

— Каждый день без опоздания
навещаю милую,
потому что я свиданья
снизу, сам, планирую.

Наконец-то я в артели
чести удостоился:
на телеге еле-еле
шофером устроился.

IV

Вышли девушки. Ох и звонки
голоса у них!.. Как взялись
петь-приплясывать —
аж гребенки
порассыпались, ленты тонки,
в косы вплетены, расплелись!

— Задушевная, пляши,
играет парень от души.
От души — не от души,
а не раздумывай — пляши!

— Мама, бей, хоть не бей —
милый мой — король бубей!
Для меня на целом свете
нет теперь его любей!

— Ой, глазки мои,
серые прижмурки.

В пиджаке страдал по мне,
а теперь — в тужурке.

— Ручеек, ручеек,
брала воду на чаек...
Я тебя не завлекала —
это ты меня завлек.

— Вот те чашка воды
и полчашки воды.
На гуляночку
с тальяночкой
почаще ходи!

V

В час рассвета и в час тумана
далеко-далеко слышны
переборы полубаяна —
чудо-музыка старины.

Все в ней, в музыке этой дикой:
песня, пляска... На все годна!
Дикой — верно. Но и великой!
Душу выразила она!

С ней, рванув на груди рубаху,
мы и в драку —
ты нас не тронь!

А понадобится — без страху
в воду ринемся и в огонь.

Под нее мы,
с судьбою споря,
можем — нам ли да все тужить?! —
половину любого горя
на веселье переложить.



В одном вы правы, что отчаянна...
И, дроля, ты имей в виду:
коль мать послушаешь — печальная
я с камнем к речке не пойду!

Я встану гордо со скамеечки
в той самой кофте голубой
и самой бойкой перебеечке
сама пойду на перебой!

Хоть не красивая — так смелая.
Кого-то любят за красу —
а за меня березка белая
растет красивая в лесу.

Пойду — такой уж я породушки! —
пойду, припевками звеня.
Ты полюбуйся со сторонушки
на боевую на меня.

Нас разлучить желают навеки,
но разлучи-ка лед с водой!..
Перехитрим ужо — не маленьки —
мы разлучителей с тобой!

5. ЖЕЛАНИЕ

Хорошо занять бы туфли мне
да на легоньком бы ходу,
чтоб не скрипнули и не стукнули,
если поздно домой приду.

Чтобы мама ни на вот столечко
не расслышала бы в тиши,
как у самой калитки дролечка
целовал меня от души.

Как он после на изгородочку
сел, а я по мосткам — чок, чок!
Полюбуйся моей походочкой,
кепка серая набочок!

Люди прочат мне — верно ль прочат-то? —
даже в суженые его.
Хоть не очень-то, между прочим-то,
он мальчишка, да ничего...

Мама утречком заругается —
не из строгости, просто так:
и куда, мол, платки деваются,
напасти не могу никак!

Неужели не догадается
мама? Мне ведь семнадцать лет!
Ими миленький утирается!
Вот и все, вот и весь секрет...

6. ПУСКАИ ГОВОРЯТ

...Вспугнут иную — заикает,
ославят зря — всю ночь не спит.
А я люблю, когда сверкает,
а я люблю, когда гремит!

Я не твержу: «Ой, что-то будет!» —
залетке. И не прячу взгляд.
И не гулять — так бабы судят,
а и гулять — так говорят.

Гуляю — сплетницам в отместку,
на зорьке падаю в кровать...
Коли бояться сильно треску,
так и в лесу не побывать.

И про меня — я это знаю —
седьмая слава на году.
Ну что ж, пускай идет восьмая —
я все равно не пропаду!

Вы продолжайте, бабы, хаять
меня у каждого столба...
А я залеточке такая,
такая до смерти любя!

7. СОПЕРНИЦА

— Любила я его, изменщика,
а ты отбила. Не судьба.
С тобою он танцует «ленчика»,
откинув челочку со лба.
С тобой в обнимочку вдоль улочки
идет — и рада ты люто...
Ну, что ж, люби мои облюбочки,
целуй целованные губочки —
мне хоть бы что, мне хоть бы что!
Меня измена не закружила...
Мне жаль, признаться, лишь того,
что девяносто раз без ужина
осталась я из-за него.
Теряла ленты и заколочки
из кос...

Я это все к тому,
что нужен, как листочек елочке,
теперь он сердцу моему.
Люби! Тебе я не соперница.
Расстались — значит, на века!

— Ах, зря, подруженька, ты сердилась:
не отбивала я дружка.
Тут надо смелость — я несмелая...



Отбила мальчика не я —
отбили глазки мои серые,
отбила молодость моя!

8. БЕЗ ВЕРЫ

Речка вешняя — ох, мутна! —
не увидишь у речки дна,
так же, как у тебя, залетка,
век не выведаеть ума.

Отчего ты так, например,
выставляешься на вечерках?..
Деревенская я девчонка,
да и ты ведь не инженер.

Будешь столько воображать,
предо мной шурша макинтошем,
лучше ты меня, мой хороший,
не ходи совсем провожать!

Что любовь мне твоя — бегом?..
Постоял полчаса — и нету...
Настоящая-то любовь,
милый, с вечера и до свету.

Встань немножечко в стороне:
я хоть малость расправлю плечи...
Надоели, залетка, мне
вертоватые твои речи.

И признаться мне разреши:
я хожу с тобой, лицемерю.
Слово молвлю не от души
и тебе ни на грош не верю!

9. ЧТОБ НЕ РАЗДУЛО ВЕТЕРКОМ

Ах вы, девочки-вересиночки,
вересиночки-кремешки!
На головушках все косыночки,
а на рубочках ремешки.

Напустив на глазенки челочки
и красиво ломая бровь,
не носите, как я, девчоночки,
под косыночкою любовь.

Вы носите ее, беляночки,
вашу пыльную, под платком,
чтоб ее под конец гуляночки
не раздуло бы ветерком.

Чтоб не выстудило — не мелочи!
сердце, словно в мороз избу...
Не носите косынки, девочки,
не испытывайте судьбу!

10. ИЗМЕНА

Говорят:

«Тебе измена. Точно!»

Ну, а я стою и хохочу.

Тошно моему сердечку, тошно,
а признаюсь все же не хочу!

Будто в грязь увязла по колено:
шага даже сделать не могу!
Слово непривычное «измена»,
как смола, прилило к языку.

НЕ НАЙТИ ТАКОЙ БЕРЕЗЫ

Нет, не найти такой березы в поле,
чтоб даже дождь ее не проливал...
А мальчика хорошего — тем более,
чтобы любил и век не забывал.

Березонька, не ты ль ему сестра?!
В твоих ветвях-кудрях гуляет ветер...
Не ты ль, береза белая, в тот вечер
мне черную измену принесла?

Ах, мимо дома дролина с трудом
теперь я прохожу: не носят ноги...
Встань хоть на шаг подальше от дороги,
с перильчатым крылечком дролин дом!

Как я реву, не знают в том дому.
Об этом знает лишь моя подружка —
помятая пуховая подушка...
Она о том не скажет никому.

Нет, не найти такой березы в поле,
чтоб даже дождь ее не проливал...
А мальчика хорошего — тем более,
чтобы любил и век не забывал.

РЕВНОСТЬ

...У клуба, конечно, конечно, под топодем
гармонь-то поет! У девчонок в кругу.
А я еще лугом, а я еще по полю,
ботинки в росе замочивши, бегу.

И брюки... хоть выжми! Напрасно отпаривал,
напрасно наглаживал, делал стрелу...
А Васька-то как с ней вчера разговаривал!
Сорокой вертелся пред ней на колу.

Ну нет, брат, не выйдет! По этой по тропочке
побегай-ка столько, помни-ка траву.
Я, может, седьмые сегодня подметочки —
роса-то какая! — на ней оторву!

Пусть скажет Алена да свет Николаевна,
сколь темных ночей недоспал я в году.
Меня, чтоб ты знал, и собаки облаивать
давно перестали, когда я иду.

Да я уж давно бы — дорога недлинная —
ее заневестил, тебе доложу,
когда б не маманя. Буонит: «Не малина, мол,
Небось не осыплется!» Вот и хожу.

А ты тут... Меня — не тебя она тешила!
При публике — да! — в намереньях пряма,
сама мне гармонию на правое вешала,
за отводом, в поле, снимала сама!

Аленка — она, брат, такая характером!
И вот что, студентик, запомни ты впредь:
ее от меня не оттащишь и трактором,
а ты... бородой захотел оттереть!

Хо-хо! А приличную скорость-то выжал я!
— Приветик, ребята!
— Здорово, садись. —
Ой-ей! А ведь Васька-то, рожа бесстыжая,
с Аленкой опять же танцует, кажись?!

Ну, точно: с Аленкой! Ах, маменька родная!
Взглянула бы ты, что творится-то тут...
Малина, малина она огородная!
Сорвут — не осыплется.. Точно: сорвут!

У РЕКИ

Речка солнышком сверкала,
а в реке девчонка
платье мыла-полоскала,
колотила звонко.

У девчонки ноги босы,
руки белы, как белье.
Ехал парень с сенокоса,
загляделся на нее.

Молод был, но не дал маху,
рядом встал на камень:
— Постирай мою рубаху
белыми руками!
Пред тобой, моя отрада,
не останусь я в долгу:
дом построю, если надо,
у реки на берегу!

И девчонка разгадала
парня с полуслова:
— Сшей мне туфельки, —
сказала, —
из песку речного.

— Что ж! — потрянул он кудреватой
разудалой головой. —
Напряди мне только дратвы
из росинки полевой!

Рассмеялась звонко: — Ох ты! —
И, лукавя, снова
загадала: — Сшей мне кофту
из цветка живого!
Лепесточек к лепесточку
не спеша принорови.
Да когда погонишь строчку,
матерьяла не порви.

Согласился парень: — Ладно!
Только попрошу я
сослужить мне службу, лада,
службу небольшую.
Слышишь, звякает уздечкой,
бьет копытом мой гнедой.
Встань на камушек средь речки,
напой его водой.

Озорно взлетели брови:
— Я исполню это,
если ты мне дом построить
сможешь до рассвета,
чтобы окна, чтобы стены —
все в нем было изо льда!

Парню море по колено,
отвечает парень: — Да! —
И встает над грудой платья
на плоту с ней рядом:
— Разреши поцеловать мне
руки твои, лада!

Обнял девушку за плечи
и услышал от нее:
— Разрешаю... до крылечка
донести мое белье!

БАБУШКИНЫ ПЕСНИ

Помню зимние вечера.
Снова дует сегодня с севера.
Входит в валенках со двора
наша бабушка. Олексеевна.
Из подойника молоко
Льет в посудинки, дужкой брякает...

До спанья еще далеко.
Еще бабушка сядет с прялкой,
небольшой, но такой баской, —
словно в горенку глянет солнышко.
И закружится веретенышко,
зажужжит под ее рукой.
Запотрескивают дрова
свет заплывет у ног — в два лучика...

И придут ей на ум слова
песни старой про Ваньку-ключника.
Под жужжанье веретена —
прядись, ниточка, прядись, тонкая,
поплывет по избе она,
и неспешная и негромкая.
Вся страдание и печаль,
вся о том, как княжна коварная
миловала-любила перня
Ваньку-ключника по ночам.
Завывает метель в трубе
Знобко, жалостно... А в избе
льется песня — печаль-забавушка.



**И, раздумавшись о себе,
о злосчастной своей судьбе,
утирает слезинку бабушка.**

**Ой, не вьюгою ли шальной
ее тропочка заматается!
Песня льется, переплетается
с тонкой ниточкою льняной.
И протяжна, и широка,
и ничем таким не расцвечена,
выпрядается бесконечная
вместе с ниткой из кужелька.**

РУССКИЕ СКАЗКИ

О сказки! О бессмертные творенья,
далеких предков наших сочиненья,
на полках не лежавшие вовек!

Кто вас творил?

Доподлинно известно:

русоволосый, живший повсеместно,
с умом расхожим русский человек.

Творил стоустно, словно подбирал
правдивое, не мудрствуя лукаво.
Он, как творец, имел на это право.
Он все из жизни брал.

И если врал —

не из тщеславья, жаждая успеха,
и не из лести — участи льстеца
в сем деле он не ведал... Врал для смеха,
из озорства, для красного словца!

Он был рабом, творец. Его пороли
и били в зубы с маху кулаком,
и в шею гнали, коль просил он воли,
и бранно называли дураком.

А он, дурак, был вовсе не дурак!
В своем углу, где крепок дух овчинный,
он хохотал над барами, да так,
что тухли, в стенку воткнуты, лучины
и лопались застежки на портах!

И слово — все, чем он владел пока, —
рождало эхо. Грохотало громом!
И поднимался во весь рост над злом он
в облики Ивана-дурака.
Он все умел, дурак, и все он мог!
И неспроста, играя опояской,
он ухмылялся в ус: мол, сказка сказкой,
а дело делом... Дайте только срок!

УТРОМ

Летом девичий сон недолог.

Летом Зинка

едва в кровать

заберется, откинув полог,

а ее уже кличет мать:

— Дочка, сбегай-ка по водичку!

— Сча-ас — А губы у Зинки спят,
и глаза еще спят —

хоть спичку
ставь! — закрыться все норовят.

А маманя бранится:

— Эка

ты засоня! — на Зинку зла.

«Пожалела бы человека,
ведь сама молодой была» —

Зинка думает, просыпаясь..

И на старенький половик
ставит ноги и, как слепая,
по шатучим мосткам сарая
в избу топает напрямик.
Умывается по-за печкой..

И выскакивает. болта,
с коромыслищем на крыльечко —
два на левой руке ведра.

Раз,

два,

три — по ступенькам.

Донце

о другое донце звенит.

Раз, два, три...

А ступеньки солнце,
солнце красное золотит.

Вдруг (как будто поймали Зинку!)
встала, смотрит: вот тут, рядком —
если б только рядком! —

в обнимку

просидела она с дружкой
до зари!.. Вот на этой самой,
верхней, вымытой добела...

Ох, услышала б только мама!
Ладно, крепко она спала.

«Дождик будет...» — уверил Зинку
парень и... позвал на крыльцо.
Зинка прятала все в косынку
раскрасневшееся лицо,
закрывала ему ладонью
губы: «Видишь, уже рассвет!»

А про дождичек и не помнит:
был он, дождичек, или нет...
Да и ночь-то была ли тоже?!
Вдруг да это всего лишь сон!

За калитку ступила — боже!
У колодца машина... Он!
Наклонясь, в радиатор воду
цедит струйкою из ведра...
А в машине полно народу:
едут сено сгребать с утра.
Зинка как ни в чем не бывало —
шашть к колодцу! А он ей вслед:

- Дождик будет опять, пожалуй...
- Да откуда! Ни тучки нет...
- Будет, бабы... Спросите Зину!
(«Вот бессовестный, вот нахал!»)

А парнишка уже в кабину
сел. И кепкою помахал...

Я ВЫШЕЛ К СТОГУ

Дождь шел такой: он сеялся, не лился,
как осенью бывает, — моросил.
И лес был тих, и облетали листья
последние с березок и осин.

И плыли тучи, днищами провиснув
до пажитей, до пасмури лесной, —
медлительные, грустные, как мысли,
как мысли поздней осени самой
И журавлиный клин торил дорогу
над лесом в чужедальнюю страну...

Промокнув и устав, я вышел к стогу
и снял с плеча ружье «Передохну»

Надергав сена и пожав колени,
я втиснулся в убежище спиной
и стал, затихнув, слушать день осенний
и дождик, моросивший надо мной.

И я услышал листьев лет, и шорох
дождя, и дуновение ветра.
Услышал,
как мурашки — целый ворох! —
скатились книзу от воротника.
И капельку увидел, что висела
на стебельке, прогнувшемся дугой.
И запах сена, знойный запах сена
вдруг различил...

И вспомнил день другой.
Тот — давний и недавний...
Это было
в озера, на самом берегу.
Метали стог. Я то и дело вилы
вздымал, а ты стояла на стогу.
А ты стояла, утопая в сене.
«Эй, берегись! — кричал я. — Подаю!»
И видел только лишь твои колени
и колоколом юбочку твою.

Нет, силой я не хвастался, ей-богу,
тогда... Я ждал лишь, дело торопя,
когда ты, вскрикнув, скатишься со стога
и я поймаю на руки тебя.

Тебя — не подступись! — воображулк
тебя — с поглядом строгим свысока,
пока чужую, да, пока чужую,
но ведь чужую именно пока!

И ты для виду только будешь мяться
и отбиваться: «Кто тебя прошил?»

...А дождь все шел. И облетали листья
последние с березок и осин.

НЕ ПЛЯШУТ...

В нашем клубе теперь культурно.
Ребята теперь не пляшут.

*Из речи завсезонной
сельским клубом Маши И.*

«Не пляшут! Вышла эта мода.
Произошел большой скачок
в культурном уровне народа,
о чем за два последних года
я вам и делаю отчет.

Не пляшут!
Танцы, только танцы!
Ребята, ежели взглянуть
со стороны,
как иностранцы, —
не уступают им ничуть!

А то, бывало, нету сладу
с шальными...
Выйдут: бух да бух!
А нынче танцы до упаду,
часа по три-четыре кряду,
и без особого догляду —
свет лишь бы только не потух.
Стеснялись, помнится, сначала,
«трясучкой» даже звали твист...
Но я на это не серчала,
сама их лично обучала,
пластинки ставил гармонист.
Теперь мы с ним танцуем оба.
Теперь в углах уже никто
не жметя: кончилась учеба!
Жаль только — нету гардероба:
танцуем в шубах и в пальто...»

Ах, Маша... (Вы простите, Маша,
что я успел на карандаш
взять ваш отчет.)

Итак: не пляшут...

Мне показался, Маша, страшен
и очень горек опыт ваш.

Чему вы радуетесь, право?..

Ужели не известно вам,
что пляска русская,
как лава
громокипящая,
со славой
прошла по всем материкам?!

Да, с ярим топаньем и свистом!

Да, с частой дробью!

— Эх, ходи! —

И с неизменно голосистой,
замороженной гармонистом
трехрядкой русской на груди!

Под переборы той трехрядки
кто не бросался вихрем в круг?

Чьи не гвоздили о пол пятки?

Кого веселые бесятки
не доводили до присядки?

Откуда прыть возьмется вдруг!..

— Эх, туфли мои,

носки выстрочены!

Не хотела выходить —

нами высочили.

Не руки — крылья распластались!

А из-под ног — огонь, огонь!

Да можно ль русских нас
представить
без русской пляски под гармонию?!

В ней наш характер: взрыв и буря!
Коль подкатило — расступись!
Не усидеть нам, глазки щуря,
коль забаянят вдруг,
ни в жисть!

Но нам не в том одном услада,
чтоб половиц не пожалеть.
Душе великая отрада,
притопнув вдруг, — послушай, лада! —
еще и песней прозвенеть:

— Милая, красивая,
свеча неугасимая,
горела, да растаяла,
любила, да оставила.

А было раз: кипя отвагой, —
те дни не так уж далеки, —
распив, что было в наших флягах,
мы в площадь —
в площадь у рейхстага! —
вбивали лихо каблуки!

Вбивали, сбросив с чубов каски,
напротив черных тех дверей...
И помнят недруги —
не сказки! —
гром той победной русской пляски
ясней, чем грохот батарей!

И будут помнить — так-то, Маша...
Сомнений нет на этот счет.
А вы: «У нас теперь не пляшут...
Произошел большой скачок...»

Не верю вашему уставу!
Как говорили в старину:
«А я и в гроб ложиться стану,
а лаптем все же болтану!»

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ДЕРЕВНИ

Гляжу в окно вагона:
— Ах, скоро ли вокзал?
Как будто бы полгода
(пол-го-да... пол-го-да...)
я дома не бывал.
Летит полузашторенный
передо мной экран...

— Эх, завалюсь-ка, что ли, я
сегодня в ресторан!
Пусть скатерть самобранная
мне явит чудо вдруг.

Прости желанье странное
Ты мне, читатель-друг.
И то: в ушах — мычание
да гусениц лязг...
И хочется отчаянно
взглянуть, прищурив глаз,
как там фокстроты режут
втроем: одна труба,
рояль, с утра нетрезвый,
да пьяный барабан;

как, обливаясь потом,
танцуют — нелегко! —
прибывшие с отчетами
плешь и еще брюшко...
Меж столиков, меж рюмочек,
да с пятки на носок,

вокруг высоких юбочек —
аж сыплется песок!
Кружится бритый окорок...

Ох, глянула б жена —
упала б, верно, в обморок,
сердешная, она.

А рядышком два малых
танцуют — не одни —
на талиях бывалых
четыре пятерни...
И пряжка о пряжку
искрят. Духота.
И в стиле — нараспашку —
рубашек ворота.

Я встану, брови хмуря,
я трешку положу
и, вопреки халтуре,
сыграть «Ревела буря...»
таперу прикажу.

И поплывет широкая
та песня. Пусть плывет!
Пусть этот бритый окорок
хоть дух переведет!

И под ее рыдания,
ее девятый вал,
я вспомню избы дальные,
в которых побывал,
вас, девушки бедовые,
на клубных вечерах,
и вас, солдатки вдовы,
на фермах и дворах:

вас, мужики, над пашнею
в холодную весну...

И вдруг глазами вашими
я вокруг себя взгляну.
Прищуренно, с грустинкою...
И не замечу, как
под сердце влажной льдинкою
подкатится тоска,
нежданная и острая...

И мне сильней стократ
к тропиночкам да росстаням
захочется назад,
хлебнуть ветров, настоянных
на росах по утрам...

Летит полузашторенный
передо мной экран.

ПИШИТЕ ПИСЬМА МАТЕРЯМ

Поют гитар походных струны
в тайге, в горах, среди морей...
О, сколько вас сегодня, юных,
живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге —
то там объявитесь, то тут...
А ваши матери в тревоге
вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
слова роняют невпопад...
Коль рано матери седеют —
не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
или скитаясь по морям,
почаще все-таки, ребята,
пишите письма матерям!

Той киргизской дружеской вечеркой
бог меня, наверно, наградил.
Кто-то мне рассказывал о чем-то,
кто-то сок гранатовый цедил,
кто-то сыпал тосты неустанно...
А хозяин сам, рванув струну,
вдруг запел протяжно и гортанно
песню, что певали в старину.
Как она мне душу взволновала,
песня! И хотя не знал я слов,
слышал эхо горного обвала,
гвалт кочевья, ржанье табунов.
Видел степь и неба полог синий,
слышал гром копыт и посвист стрел...
И уже, как водится в России,
подтянуть хозяину хотел.
Но сказала мне жена поэта:
— Вы, Сережа, гость у нас в краю.
Спойте нам старинную, как эта,
русскую, народную, свою.
— Русскую? — и я уперся взглядом
в потолок. — Старинную?.. Сейчас... —
А в башке совсем не то, что надо,
а в башке всесветный ералаш.
Вспомнил я родную деревеньку...
Вспомнил — черт мне, видно, в том помог!
«Черного кота» и «Летку-енку»,
а свою, старинную, не смог...
То есть голоса-то вспомнил вроде,
а слова... хотя б один куплет!

Всплыло: «Во саду ли, в огороде...»
Ну, а кто и с кем — не помню, нет.
Чем они меня околдовали,
нынешние, с грушами у рта?
А ведь если вспомнить, как певали
в избах! Как певали! Красота!
Помню, бабы, сидя у кудели,
пели... Или девки за селом!
Или мужики, когда сидели,
захмелев, за праздничным столом!
Пели так, что аж избу качало!
Просто, без особенных затей.
Та-та-та-а... Ну, как ее начало,
песни той? Не помню хоть убей!
Говорю: — Простите, братцы, голос... —
И краснею: будто бы с меня
сняли все и выставили голым
на базаре среди бела дня.

ОНА МНЕ МАТЕРЬЮ БЫЛА

Критик мой, ты меня не брани,
что я кланяюсь снова с грустью
деревенскому захоластью, —
критик, ты меня не брани.

Я не хуже, чем ты, литспец,
знаю — не по твоим уставам, —
что приходит деревне старой,
как ты выразился, конец.

Ах, далось же тебе шпынять
за грехи меня!.. Это просто.
Ты б попробовал, стрелы остря,
прежде чувства мои понять.

Да тебе ли понять, тебе ль,
что деревня была мне смала
та же добрая мама...

Мама,
очень старенькая теперь.

Что она мне, как мать, дала
душу, слово, характер, силу.
Научила любить Россию
и добро отличать от зла.

И хорош бы я был, хорош,
если б вдруг, не признавши сына,
мама: «Чей ты?» -- меня спросила
и: «Откуда куда идешь?»

...Вот стою перед ней, седой,
нежно глажу ее морщины,
не ребенок уже — мужчина,
кстати, тоже немолодой.

И умом понимаю: да,
отжила... А в полях моторы:
«Отжила», — мне, как эхо, вторят,
«Отжила», — гудят провода.

Но душой — хоть меня убей,
хоть живым зарой вместе с нею! —
я жалею маму, жалею,
низко кланяюсь в ноги ей.

Вновь и вновь обращаю взор
к ней, хочу — продолжатель рода —
знать, как прадеды жили: Федор
(Федор вроде...) и Алафер.

Благосклонна ль была судьба
к ним? Чем были они известны?
И какие певали песни?
И удачливы ль на хлеба
были?..

Очень хочу я знать,
глубоки ль и где мои корни?
А она уже и не помнит
ничего о прадедах, мать...

Да и песни — стара, стара! —
мама тоже перезабыла.
А ведь помнила.
И любила
петь их в долгие вечера.

Мне ль корить ее? Не корю.
Нет, другой одержим я целью.
«Ты была моей колыбелью, —
тихо старенькой говорю. —

Я сбегал с твоего крыльца,
а в руке — горбушка ржаная...
И спасибо тебе, родная,
что не холила ты мальчика.

Если вспомнить, и это мне
было очень кстати порою...
И особенно — я не скрою —
на великой на той войне».

'7. LB W V 11

БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ

Я помню: мы вышли из боя
в разгар невеселой поры,
когда, переспевшие, стоя
ломались хлеба от жары.

Ни облачка в небе, ни тучи.
Не чая попасть на гумно,
слезой из-под брови колючей
стекало на землю зерно.

Солома сгибала колени,
как странник, уставший в пути...
В Ивановке — местном селенье —
Иванов — шаром покати!

Авдотьи кругом да Орины,
короче — солдатки одни.
И видим: еще половины
хлебов не убрали они.

Уставшие — шли не с парада, —
не спавшие целую ночь,
мы все же решили, что надо
хоть чуточку бабам помочь.

И тут же, по форме солдаты,
душой же все те ж мужики,
мы сбросили пыльные скатки,
составили в козлы штыки.

И в рост — во весь рост! —

не сражаться

пошли, — нетерпением горя
пошли со снопами брататься,
в объятья их по три беря.

Мы вверх их вздымали, упрямы,
и запах соломы ржаной
вдыхали, хмелея, ноздрями
на поле, бок о бок с войной.

И диву давались: когда-то,
еще не начав воевать,
от этакой вот благодати
мы даже могли уставать...

Сейчас же все боле да боле
просила работы душа.
И мы продвигались по полю,
сулоном чубы вороша.

Мы пели б —

наверное, пели б —

работу беря на «ура»,
когда бы ребят не жалели,
схороненных нами вчера.

Им было бы так же вот любо,
как нам, наработаться всласть,
и сбросить пилотки, и чубом
к снопам золотистым припасть.

Вдохнуть неостывшего зноя
и вспомнить на миг в тишине
родимое поле ржаное,
и, может, забыть о войне.

Забыть, что фашист насаждает,
забыть, что у края жнивья
винтовка тебя ожидает,
а вовсе не женка твоя.

Но было забыть невозможно.
Платки приспустивши до глаз,
тоскливо, печально, тревожно
глядели солдатки на нас.

Им виделась жатва иная...
Они из-под пыльных платков
глядели на нас, вспоминая,
конечно, своих мужиков.

А мы все ломили работу,
носились, не чувствуя ног,
сдьмым умывались потом
в последний, быть может, разок...

И слепли от этого пота,
И очень боялись, вот-вот
раздастся жестокое: —Ро-та! —
И все, словно сон, оборвет.

РАСПЛАТА
(Пленные под Сталинградом)

Всё наземь, в снег:

и ружья и знамена.

Лишь только руки — к небу. От земли.

Я видел — за колонною колонна, —

я видел, как тогда они брели.

Брели, окоченев и обессилив,

пространство получив в конце концов.

Пурга,

как возмущенный дух России,

плевала им неистово в лицо!

Рвала на них платки и одеяла,

гнала, свистя, с сугроба на сугроб,

чтоб им, спесивым, «матка, яйца, сало!»

и «матка, млеко!»

помнились по гроб!

Они брели, не в силах даже губы

сомкнуть, чтобы взмолиться: «О, маин рот!»

А из снегов безмолвно, словно трубы

спаленных хат,

глядел на них народ...

О, как дрожалось им — о, как дрожалось! —

от тех недвижных взглядов: не укор.

и не прощенье —

поздно! —

и не жалость

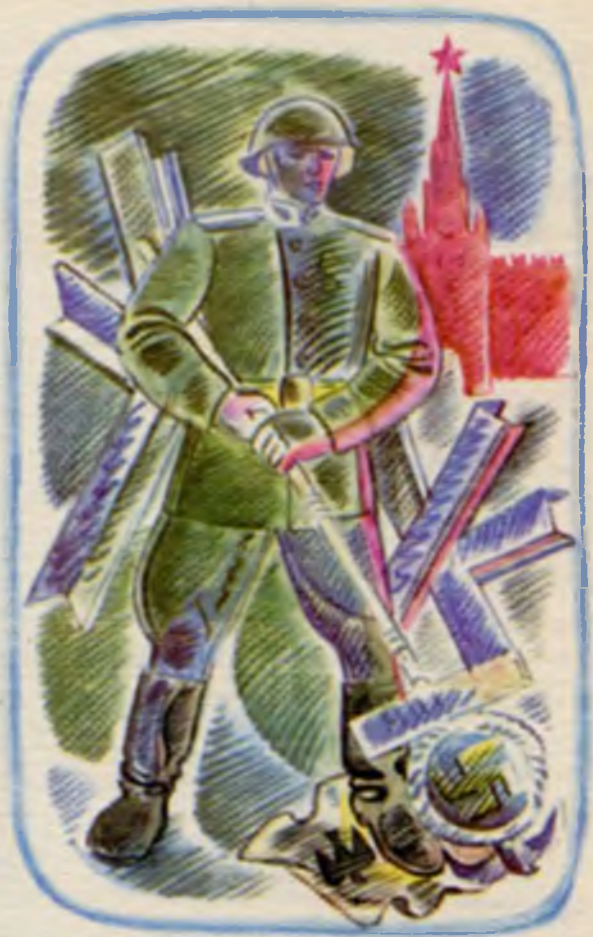
они читали в них, а приговор

всему, что было брошено на карту,

доверено единственно ружью...

Ну что ж! Забыв о доле Бонапарта,

они теперь извели с в о ю!



ПАРАД ПОБЕДЫ

Такое Площадь знала лишь однажды,
однажды только видела Земля:
солдаты волокли знамена вражьи,
чтоб бросить их к подножию Кремля.

Они, свисая, пыль мели с брусчатки.
А воины, в сиянии погон,
все били, били в черные их складки
надраенным кирзовым сапогом.

Молчала Площадь. Только барабаны
гремели. И еще — шаги, шаги...
Вот что такое «русские Иваны» —
взгляните и запомните, враги!
Вы в них стреляли?

Да, вы в них стреляли!

И жгли в печах?

Да, вы их жгли в печах!

Да только зря. они не умирали,
лишь молний прибавлялось в их очах!

«На-а-пра-во!» — и с размаху о брусчатку
и свастику, и хищного орла.

Вот так! России бросили перчатку —
Россия ту перчатку подняла!

И видели, кто был в тот день в столице,
на Площади: она, лицом строга,
подняв венец

и меч зажав в деснице,
прошла по стягам брошенным врага!

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

М. Дудину

В день святого Пантелеймона
(Впрочем, тут ни при чем святой),
Повернувшись спиной к иконам,
Пили женщины — дескать, что нам! —
Мутной браги хмельной настой.

Угощали друг друга рьяно,
Грубо, попросту, по-мужски.
Пели звонко, плясали пьяно
И смеялись до слез. С тоски.

А тоска велика, без меры.
Встанут в круг, подперев бока, —
Сами дамы и кавалеры,
Ни единого мужика.

Ну, хотя б один завалыщий,
Даже пусть инвалид какой.
Покури бы, коли курящий.
Уцелевшей обнял рукой...

Нету! Даже за гармониста
(Научила всему нужда)
Тоже баба — толстушка Христа,
Радость горькая и беда.

Ах, и что за гармонии были
Раньше — Христиной ли чета!
Где те парни? Одних убили.
А другие вшли, забыли
Эти северные места.

Пляшут женщины: — Ах вы, сени!
Пой, тальяночка, норови! —
Шумно в горнице, а веселья —
Нет веселья, хоть впрямь реви.

Может, с песнею вдоль посада
Им пройти бы — рука в руке —
И себя и свои наряды
Показать бы — да перед кем?
Ходят улицей, крутозобы,
Только куры да петухи...

Скучно: где же вы, хлеборобы?
Трудно: где же вы, женихи?

ВОРОНЫ

Шел третий год после войны.
В июле, по обыкновенью,
ища желанной тишины,
приехал я в свою деревню.

Иду однажды налегке
по-за околицей и вижу,
как,
 по-мужицкому бесстыже
ругаясь, с палкою в руке
гоняет птичница ворон:
— На вас бы, проклятые, пушку! —
И вдруг ко мне:
— Опять урон!
Опять угробили несущку!
Шугаю вот, а толк каков?!
Ну, если б ястребы, так ладно...
Не стало, видишь, мужиков —
вот им и сделалось повадно.

— Как так? — спросил я, удивлен,
нет, даже вскрикнул, не поверив. —
Чтоб куры гибли от ворон?!
От этих гадких? Этих серых?!
— Да, милый, я тебе не вру.
Сама дивуюсь: то ли куры,
как говорят, и вправду дуры,
то ль, как у многих на миру,
у них трусливые натуры?

Едва ворона два крыла
распустит — глядь, уже иная
со страху будто умерла,
и не шелохнется, дрянная!
Присядет этак вот, жалка,
и ждет, и ждет свою судьбину...

А эта серая карга
ей преспокойненько на спину
и клювом — тук! — по голове.
Тут ей, простушке, и кончина.
Идешь — валяется в траве...
Ты попугал бы их, мужчина!
Ведь на мое, на бабье «кыш!»,
на трепыханье юбки в раже
они взирают нагло с крыш,
не шевельнув крылами даже.

Я снял двустволку со стены
и, яростный, вогнал патроны
в ее тяжелые стволы:
«Ужо вам, серые вороны!»
К курятнику по борозде
подкравшись, встал возле куста я
и выглянул: «Так вот ты где
пируешь снова, вражья стая!»

Сверкнул огонь из двух стволов —
и грянул гром! Свершилась кара!
И начался переполох
среди их серого базара.
И понеслось на крыльях: «Кар-р!»
Через реку, через болото...

Швырнул я -- точен был удар —
Одну из серых за амбар
и в тишине промолвил:

— То-то

* * *

Начать бы так стихотворенье:
«Я помню чудное мгновенье...»
Но было все совсем не так.

В окопе, перед наступленьем,
курили молча мы табак.
Час оставался до сраженья.
А там (на то она — война!)
кого-то спишет со снабженья
навечно ротный старшина.

Но не об этом, не об этом
все ж думал я...

Меня ждала
в краю, где тихие рассветы,
девчонка нашего села.
Хорошие слова сказала
Мне на прощание она...

Вставал рассвет. Грозь обвалом,
плыла над фронтом тишина.
Часы показывали восемь.
Шепча проклятия врагу,
в окоп свалился письмоносец
с тяжелой сумкой на боку.
Конверт мне сунув:

— Не иначе,
как от нее опять, — сказал.
«Любимый мой!» — смеясь и плача,
я в первой строчке прочитал.

Но вот за дымным лесом где-то
проснулся гневный бог войны,
и в небо красная ракета
взлетела с нашей стороны.
Взлетела медленно, тревожно...

Я падал и вставал опять...
Я верил: счастье невозможно
из тысяч пушек расстрелять!
А пули пели. Мимо, мимо!..
И мины падали в траву.
Я знал, что мне необходимо
дожить, и верил: доживу!

...Так день за днем...
В огне и дыме
прошла зима, потом весна...
Все ж опоздал я... Ты прости мне:
четыре года шла война.

Где ты теперь? Кто мне расскажет?
А впрочем, это все равно:
Я позабыл тебя. И даже
Все письма сжег давным-давно.
Забыл. Пришла пора иная...

Но я себе напрасно лгу:
я, о тебе не вспоминая,
о прошлом думать не могу.
Ведь ты со мною в дни ненастья
была на линии огня...
А это... это было счастьем,
по крайней мере для меня.

В ту осень стояла погода
на славу... И было как раз
начало учебного года.

И в школу
впервые в свой класс,
пришли, молодого раденья
и, ясно, волненья полны,
счастливые дети
рожденья
четвертого года войны.

Стояли мальчишки, девчонки
кружочком у школьных дверей,
держа по привычке ручонки
худые
в руках матерей.

А сзади видавшие виды,
в сиянии скромных наград,
стояли отцы-инвалиды
и глаз не спускали с ребят.

Не баско одеты, обуты
ребята, да суть ведь не в том...
Значительность этой минуты
поймут они только потом.
Учителька медлить не стала
и, первой взойдя на крыльцо,
«Пожалуйста» — мамам сказала,
«Прошу!» — пригласила отцов.

И вот, на ученье азартны, —
все было в новинку пока, —
ребята уселись за парты,
занявши два первых рядка.

А папы притихли. А мамы —
платочки к глазам у стены...
— Как мало, ах как же вас мало,
ребята, вернулось с войны... —

сказала учителка, словно
подумала вслух. И в ответ:
— Вы спутали, Анна Петровна... —
пропел ей один шпингалет. —

Мы не были... Вы пошутили...
Мой папа — так точно...
— И мой!
Его там чуть-чуть не убили,
а он им — ага!.. И домой.

— Вы правы, конечно, ребята.
И я на войне не была... —
И вновь по незанятым партам
глазами она повела.

И так захотелось поверить
ей в то, что сейчас вот, сейчас
привычно откроются двери
у ней за спиною,
и в класс
Аленки, Николки, Маняшки
вбегут и, волнуясь, слегка:
«Мы, скажут, играли в пятнашки...
Совсем не слышали звонка!»

Так это услышалось ясно,
что вдруг обернулась она. ·
Да только напрасно, напрасно:
за дверью была тишина.

КОГДА СЫНОВЬЯ НА ВОЙНЕ

Матери, Екатерине Васильевне

Приеду к ней, бывало,
 рядом сяду
и — как же, мол, в войну-то ты жила?

— Да как... — вздохнет. — Четыре года кряду
все плакала, все слезоньки лила.

Как грянуло —
 от Коли ни словечка...

А я все жду. А я креплюсь и жду.
Увижу почтальоншу — на крылечко
бегу встречать: не верую в беду.

А ночью лягу —
 кровь, все кровь мне снится.

Толкую сон: «О доме затужил...
Живой...»

 А немцы, слышу, у столицы.
А Коля — в пограничниках служил...

От батьки-то в те дни как раз,
 помята,

пришла-таки писулечка одна.
«Ох, где-то наши, Катенька, ребята?
Увидимся ль, как кончится война?»
И все... И больше не было ни строчки.

И скрашивали боль мою и грусть
твои — я получала их — листочки,
я их читала бабам наизусть.
А если не писал и ты, Сережа, —
не знала я, куда себя мне деть...

Одно лишь оставалось мне — о боже! —
на ваши фотокарточки глядеть.

Вот прибегу растрепанная с поля —
и к карточкам, лишь двери отворю:
«Сережа, добрый вечер. Здравствуй, Коля.
И Вася, тоже здравствуй», — говорю.
Одну, другую карточку с комода
сниму...

А в горле ком — не проглочу.
И так вот день за днем — четыре года:
то плачу, то работу ворочу.

А бабы — им не все же горе мыкать
(его хватало, горюшка, на всех) —
наладятся в какой-нить праздник выпить,
да спьяна-то забудутся — и в смех.
А мне так дико это все — ушла бы!
И грудь теснит — вот-вот сорвусь на крик:
«Да как вы это можете-то, бабы,
смеяться-то?! А вдруг да в этот миг
кого-нибудь из ваших ненаглядных
убило?! Крикнул: «Мама!» — и затих...»

А отойду: «Смеются — да и ладно.
Поплакать

будет времечко у них...»

И верно:

редкий день без причитанья.

Услышишь — аж мурашки по спине!..

Нет матерям страшнее испытанья,
чем то, когда их дети на войне.



ОТЦУ

Может быть, зимой, а может, летом
оборвался твой солдатский путь.
Ничего не знаю. Даже это:
в день какой тебя мне помянуть?
В сторону какую поклониться
по-сыновьи праху твоему?..

Черный ворон, вековуха-птица,
ты не в том ли почернел дымом,
что ему, солдату, выел очи?..

И не ты ли, сидя на суку,
перед самым боем напроорочил
долюшку такую мужику?
Долюшку — растаять с дымом взрыва
в облаках?..

Несутся облака.
Ворон дремлет. Ворон нем как рыба.
Только ель скрипит под ним слегка...

НЕ ПРИШЕДШИМ С ВОЙНЫ

...И только председатель молвил слово, что надо б в память тех, кто отдал жизнь в войну, кого ни матери, ни вдовы, состарившись, домой не дождались, — какой-нибудь хоть памятник поставить («Пришла пора: не так уж мы бедны!»), как зашумели все. И даже встали, в ладоши дружно хлопая:

— Должны!

— Чего там говорить... —

И Пелагея

пробилась тоже к сцене, к кумачу и подала, что было, не жалея:

— Возьми-ка... — прямо в руки Кузьмичу.

Все знали, что живет она не очень...

Но чтоб вернуть назад ей пятаки —

нет, не посмели: у кого — сыночек,

а у Палаши — четверо... сынки.

Да и хозяин... Всю, как есть, породу

война перевела. Никто с тех пор

не приносил ей в избу в ведрах воду,

никто, кроме самой, не брал топор.

...Был памятник поставлен в самом центре

в кругу берез старинных, над рекой,

и, так уж получилось, рядом с церковью,

по-нынешнему, рядом с мастерской.

И вышел митинг в день его открытия.

В погожий, но не жаркий этот день,

суровы и тихи, пришли на митинг
все жители окрестных деревень.

Стояли, вспоминая и жалея
кровинок, забавушек, родных...

Чуть припоздав, пришла и Пелагея
с букетиком цветочков полевых.

Пробилась ближе, на колени стала,
одна. И всем почудилось в тиши,
что с черных куполов не галок стая
взвилась в тот миг, а вопль ее души.

Рассыпала неяркие цветочки
у памятника, вывела, скорбя:

— Ну что же вы, ну что же вы, сыночки,
не сберегли, все четверо, себя?!

Уж я ли вам защиты не молила,
уж я ли вас, горюха, не ждала? —

Как будто бы не памятник — могила
сыновняя у ног ее была. —

Ой, да какую мама ваша стала,
сыночки, вы бы глянули сейчас.

Ой, да не ей ли выпало под старость
земельку обихаживать без вас.

От лебеды спасать да от полыни,
а в весну — плугом, горькую, пластать...

Ни дна те, ни крыши, змей-горыныч,
сыночков погубивший супостат! —

А галки все метались за оградой,
и все у рта платок держала мать...

И медлил председатель, стоя рядом,
речь начинать.

ДЕВЧАТА

А. Яшину

Сон свалил деревню. Поздно.
Спит зеленая страна.
Только месяц, только звезды
да гармонь не спит одна.

Там девчата-хохотушки —
гармонист у них в чести, —
словно семечки,
чапушки
сыплют под ноги друг дружке
до полуночи почти.

Что им сон — девчатам нашим!
Каблучками словно шьют.
От любви сгорают — пляшут,
от измены сохнут — пляшут,
и зимой и летом пляшут —
как они не устают?!

А была война — плясали
все равно и в дни войны.
Встанут: парни-дроли — сами,
и гармони — тоже сами,
сами — песельницы, сами,
наконец, и плясуны.

Были болью, были мукой,
не стихавшей ни на миг,
эти песни о разлуке,
эти пляски «под язык».

Да и пели-то, признаться,
для того лишь, может быть,
чтобы вдруг не разрыдаться,
чтобы в голос не завывать.

Злы и грубы были песни.
Пели так —
и в этом суть, —
чтоб врага не пулей если,
так хоть словом полоснуть!

А хотелось песен светлых.
Но была без пареньков
кладовая слов заветных
заперта на семь замков.
Годы шли — но не тускнели
те слова в сердцах девчат...
«Скоро ль, серые шинели,
возвернетесь вы назад».

Сгинул, минул срок тот страшный...
По траве да по росе
воротились помилашки,
воротились, да не все.

И летела в край из края
о девчоночках молва:
чуть не каждая вторая —
незамужняя вдова.

Две недели, три недели,
сто недель потом подряд
пели... плакали и пели
те девчонки, говорят.

А однажды замолчали:
на другом конце села
без тоски и без печали
песня крылья развела.

Полетела, словно эхо
песен, спетых до войны,
одаряя смехом, смехом
все четыре стороны:

«Девочки, любовь горячую
носите под платком.
Я носила под косыночкой —
раздуло ветерком».

Половодьем песен этих
ты, мой Север, и хорош!

Спит округа. Месяц светит.
Сны досматривает рожь.
Желторотые грачата
в гнездах спят, и спят грачи
возле гнезд... Одни девчата
ходят с песнями в ночи.
Ходят улицей знакомой.
И у каждой для дружка
песен сто с собой да дома
под завязку — два мешка!

Сквозь чашу леса поределую,
один, за ветром по пятам,
пришел вчера я в рощу белую,
а там — гуляние... А там
березы водят хороводы:
октябрь — а им и горя нет!
И, мать честная, вижу — мода
и у берез на рыжий цвет,
и у осин...
Над всем пространством
и бронзы отблеск и огня.

Лишь ели с мудрым постоянством,
темнея, смотрят на меня,
как будто шепчут: ненадолго...

Но их не слушают, легки,
березки. Сыплют из подолов
на плечи елям пятаки.
Сорят налево и направо:
мол, все равно идут года.
То было рано, было рано,
а будет поздно — что тогда?!

И принимаются раскачивать
опять свой белый гибкий стан,
от чувств пьянея нерастраченных,
пустив по ветру сарафан.

А то, обнявшись, станут парами
и зябко песню заведут,
как на деревне девы старые,
что все еще чего-то ждут...

Солнышко усталое катилось
за полдень, сжигая синеву...
Мужики закладывали силос,
весело работали, красиво...
Покурить присели на траву.

Крякали, подбрасывали шутки:
— Не стихи писать, мол... — в адрес мой. —
Тут, мол, сбросишь лишнее за сутки! —
И дымилась мирно самокрутки,
и вились стрижи над головой.

А потом,
большой, простоволосый,
фронтовик бывалый, ныне дед,
Клим Вольнов сказал, окурок бросив:
— У меня, Васильевич, вопросик
есть к тебе... Ответишь али нет?

— Что ж, давай...—От Клима жди подвоха:
я насторожился.

— Значит, так...

Тут один из вас... того... —
со вздохом

начал Клим. — Смотался — ну, эпоха! —
за границу, мать его растак!

Я прошел войну и знаю: худо —
перебежчик... Это ж не в кино!

Ты вот и скажи теперь: откуда,
из какой губерни он, иуда,
родом?

— А тебе не все равно?

— Все равно?.. — И Клим прищурил узко
левый глаз. — А вдруг он мне родня?! —
Сплюнул и добавил зло и грустно: —
От его фамилии-то русской
тень-то ведь легла и на меня.

И такое чувство в результате:
будто он из нашего полка,
перебежчик этот и предатель...
— От своей фамилии-то, кстати,
он отрекся, — вставил председатель. —
Так что...
— Ха, утешил старика!

Да ведь этим самым он мне в рожу
залепил еще один плевок,
гад ползучий! — лихо подытожил
Клим Вольнов.
— И мне, — сказал я тоже...
Что я тут еще добавить мог?!

Поопали у бабы Груни
плечи: что говорить — года...
Под сельповскою кофтой груди
не подобраны, как всегда.

Груня к этакой канители
не привыкла: всю жизнь была,
почитай, при мужицком деле,
да и бабьи знала дела.

Одного за другим трех мальчиков
родила, удивив родню.
Луны белые выворачивать
приходилось семь раз на дню.

И сказать, чтобы ей в обузу
это было — нельзя сказать:
сунет

теплую

карапузу —

и за ложку, и щи хлебать.
Аккуратисто, со сноровкой,
поводя лишь одним плечом...

Не хотела перед свекровкой
без нужды сплеховать ни в чем.
Отдавала ей после

сына,

приласкав его на ходу,
и бежала опять, косила
с мужиками в одном ряду.

Так, с улыбкой, еще о многом
вспомнит Груня. Но тут как раз
перед домом, свернув с дороги,
председательский станет «газ».

Груня — грудью на подоконник
и, как милому за реку:
— Федор Павлович, далеко ли?
Да зайди хоть, испей кваску!
Побеседуй хоть...

И покуда
Федор, строг, да не бестолков, —
цедит квас через край из блюда,
Груня выпалит тыщу слов:
— Не вози-ка ты больше, парень,
этой химии-то сюда.
Три коровушки, слышь-ко, пали,
склад-то, слышь-ка, возле пруда,
в развалюхе, в овине старом:
дождь линет — и ручьи-то в пруд...
Вон навоз на дворе — задаром
отдала бы, так не берут!

Ты б приструнил их, грамотеев,
остерег бы их от беды.
Им бы новые все затеи,
ну а старые чем худы?!

Федор вытрет ладонью губы:
что ж, спасибо, мол, за совет...
И ни взглядом, ни словом грубым
не обидит старуху, нет.

Знает, помнит:
полоски малой

не найдется вокруг села,
где б она ногой не ступала,
где бы пота не пролила.

Он сбежит с крыльца по ступенькам,
но расслышит все ж на бегу:
— Федор, может, помочь маленько
надо? Я ведь еще могу!

В ЗАЩИТУ СТАРИКОВ

Суетливы, на руку скоры,
слышал я, мудрецы в очках
позатеяли разговоры,
даже споры —
о стариках.

С высоты трибун, диссертаций:
«Поглядите! — подняли крик. —
Сколько бродит картинных старцев
по страницам последних книг!
И, что важно, они нередко
мелют только, а не куют!..
Тешась щами да квасом с редькой,
с обветшалой моралью предков
пред читателем предстают.
Много ль нам от таких «героев»
толку? Что у них за душой,
кроме жалоб на нездоровье
да охоты к речам
большой?

Позабыв, что давно с базара,
и утратив былую прыть,
не утратили старцы дара
утомительно говорить.
Дайте им разойтись — замучат!..
А меж тем о жизни самой
представленья их столь дремучи
и отсталы, что боже ж мой!..»

Что на это сказать, ответить?
Да, померк он для старцев, свет...
Но

в семнадцатом

старцам этим
было... двадцать неполных лет!
Двадцать! Слышите, пустомели?
Мир от бури глох. И они
по-за печками не сидели,
труса праздная, черт возьми!

Ну, а после,

утерши лбы-то,
по вокзалам, цехам, дворам,
что наломано и набито,
дядя, что ль,

за них

подбирал?!

Или: кто на лютых морозах
зажигал Магнитки огни?
Кто бессменно ломил в колхозах?
На лесных делянках?
Они!

И хватило б тех дел, ей-богу,
им,

чтоб чтили их век сыны!

А они еще вспомнить могут
и четыре года войны.
Смерть просеивала сквозь сито
жизни — выжили!.. И опять,
что наломано и набито,
им же выпало подбирать.
Старцы — всё они испытали!

Так с каких это пор, с каких
нам, расправившим крылья,
стали

утомительны речи их?!

Представленья о жизни — косны
и дремуча, как лес, мораль?

Я к вам, старцы, иду с вопросом:
«Где

и как закалялась сталь?

Чем силен и могуч отроду
был народ мой?..»

В конце концов,
д е т и, вечно

блюдя природу,

брали лучшее от о т ц о в!

Уважали лета и раны их,

чутко вслушивались в слова,

чтоб не вырасти — пусть Иванами,
да не помнящими родства.

Меньше, старцы, вас год от года
и, что сделаешь, глуше речь...

Память ваша — память народа.

Нам ее для сынов
беречь!

КОГДА СОЛДАТ ЦЕЛУЕТ ЗНАМЯ

А мы-то помним, мы-то знаем,
о чем он думает, солдат,
когда развернутое знамя
целует, сжавши автомат.

Отчетливо, как день вчерашний,
с тобой мы помним,
друг-годок,
и тот нестыдный, под рубашкой,
во все лопатки холодок,

и тот не столь уж отдаленный
гул.. И молчание полка.
И тот однажды опаленный
огнем атаки шелк знаменный,
багрово падавший с древка.
Мы помним, как над нами рдел он
шитьем... А мы,
а мы к нему
губами, что белее мела,
по одному, по одному...

И нам казалось в миг тот самый —
ты это помнишь, старина? —
что мы целуем руку мамы,
которая для всех одна,
которая
в рубцах и ранах —
война пришла в ее края.

которой жаль сынов,
но храбрых,
а трусы — ей не сыновья.
И, как ее благословенье,
нам был наш стяг.. И потому
мы становились на колени,
чтобы притронуться к нему.

ЧИТАЯ ИСТОРИЮ

Как долго ты училась жить, Россия...
И даже в час, когда тебя рвала
по-волчьи

на куски

орда Батыя —
всяк князь звонил себе в колокола...

И, глядя на дорогу через щелки
бойниц,

шептал, крестясь на образа:
«Авось они проскачут мимо, волки...
Авось пройдет сторонкою гроза...»

С молитвой той ложился и вставал он...
И не спешил на помощь,

втайне рад,
что осажден, по слухам, град немалый,
в котором княжит дерзкий супостат.

«И поделом... И пусть он примет муку...» —
Шептал,

лелея мысль, что наконец,
побитый,

под его придет он руку,
поклонится ему таки, гордец.

А утром —

со стены как на ладони
видны —

через луга, через поля
монгольские выносливые кони
скакали, гривы по ветру стеля.

на запад, дальше, с гиком устремятся,
оставив мертвых воронам клевать.

А на живых — подушно — дань разметят,
которую платить под свист плетей
до самой смерти им,

а после — детям,
а там еще и детям их детей.

...Как долго ты училась жить, Россия!

СТРЕЛА НА ТЕТИВЕ

Наступать на Россию,
на селенья ее, на Москву —
все равно что огромного лука
помогать напрягать тетиву.

Нет, не сразу народом
этот лук был в веках оснащен,
но с тех пор постоянно
он стрелою во вне обращен!
Чем жесточе усилья,
завидушей захватчиков взгляд, —
тем стремительней мчится
тетива со стрелою назад!

Мир запомнил:

пришпорив
всю Европу, — велик был азарт! —
сильно
этого лука
тетиву натянул Бонапарт.
Но зато как летел он...
Как летел из российских глубин:
сзади, справа и слева
сабель свист
да удары тяжелых мужицких дубин
После,
танковых траков
след глубокий впечатав в траву,
Гитлер — зверя зверее —
аж до Волги напрёг тетиву.

Загудела тревожно,
натянулась она, как струна.
Но не лопнула все же!
...И на Эльбе издохла война!
Славься, лук наш державный,
что народом
 в веках
 оснащен!

Будь, как прежде,
стрелою
ты навстречу врагу обращен!

НОВОГОДНИЙ ТОСТ
В КРУГУ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Побратимы, мальчики, ребята
с белым ранним снегом в волосах!
В самой верхней точке циферблата
вновь сомкнулись стрелки на часах.

Ясно, что не стали мы моложе:
нам уж не по силам марш-бросок,
сдало зренье... Но и все же, все же —
пьем за порох, а не за песок!

Ну-ка, есть ли он в пороховницах?!

Есть!

Сухой ли? Как всегда, сухой!

Пьем за порох! Порох пригодится,
если это порох невлохой.

Пусть дельцы сегодняшние, кстати
знают, что и в мирные года
мы его умеем с толком тратить,
защищая чести города!

И ни ложь, ни лесть — мы не допустим! —
эти города не покорят.
Пьем за право первым встать на бруствер,
если долг и совесть повелят!

РОССИЯ

1

Россия — росы и сиянье.
И значит — утро,
значит — свет.
И расстоянья, расстоянья...
Без них России просто нет.

Эх, птица-тройка!
Не с того ли
нам век тревожили сердца
и скрип полозьев в зимнем поле,
и чудный звон колокольца?!

Не эта ль, злая,
с дней творенья
любовь к стремительной езде,
порвав земное тяготенье,
нас,
первых,
бросила к звезде,
к тому мерцающему свету?!

И озарилась на века
завороженная планета
лихой улыбкой «ямшика»!

2

Любимый цвет России — алый.
А непокой — ее судьба.

Все знают: с краю не бывала
во веки русская изба!

И нам недаром, нам недаром
на все четыре стороны
видны и отблески пожаров,
и гулы дальние слышны.

И дива нет, что наседали,
ломались в нашу дверь враги.
И мы не скроем, что едали
не только с медом пироги...
Не сладко.
Но не бесполезно!

У нас, отведавших беды,
в крови прибавилось железа
и поубавилось воды,
кипенье крови жарче стало...

Но наши недруги должны
знать,
 что она осталась алой,
как шелк на знамени страны!

3

Твои березы над водою
люблю...
Но мне милей стократ
твое, Россия, молодое
лицо и твой открытый взгляд.

Ни злобы, ни высокомерья,
ни лжи, ни хитрости в нем нет.
И взгляды дружбы и доверья
обращены к тебе в ответ.

Так смотрят только брат на брата,
коль брат за брата
горд и рад!
Но знают все: для супостата
есть у тебя особый взгляд.

Белки кровавы, бровь подковой,
над переносицею — медь...
Впервой на поле Куликовом
ты так сумела поглядеть!

И дрогнула орда, роняя
секиры, копья, топоры...
А у тебя между бровями
осталась складка с той поры.
Пускай она тебя не красит...
Но и в недавние года,
узнав, сколь правый гнев ужасен,
с твоих просторов восвояси
бежала новая орда.

4

Нет, для поборников насилья
уроки времени не впрок.
Им и теперь еще Россия —
большой и лакомый пирог.

Прогуливаясь в отдаленье,
они на тот пирог глядят
и с откровенным вождельнем
гадают: с чем его едят?

И вспоминают напоследок:
ломоть,
что с краешку лежит,

успел куснуть их давний предок
и, значит, им принадлежит.

Смешны нам эти притязанья...
Пусть знает всяк, решаясь в путь:
пирог — Россия,
но с глазами,
как говорят у нас в Рязани...
Попробуй лапу протянуть!

5

В глазах России много сини
озерной
и голубизны
небесной...
В мире нет красивей
и нет бессоннее страны.

Она, великая, ни разу,
воз, ей назначенный, везя,
не закрывала оба глаза
одновременно: ей нельзя!

Смежив одно устало око,
когда над ним луна взойдет,
она немедленно
широко
другое к солнцу распахнет.

И от границы до границы,
через Сибирь, за тот хребет,
покатят вал звенящий птицы
за солнцем вслед, за солнцем вслед...

ОДНА НАВЕК

*(Лирическая поэма
с публицистическим
отступлением и эпилогом)*

1

Все было просто поначалу,
и все ж оно, начало, — там.

2

...Летела лодочка к причалу,
да так, что пена по бортам!
Да так, что белая рубаха
была мокра — не от дождя, —
дак так, что ахала от страха
девчонка, с берега следя.

— Э-гей! — неслось по ветру с кручи.
— Э-гей! — мальчишка отвечал.
И гром гремел. И дождь блескучий
стеклянно брякал о причал.

Но вот лучи пронзили косо
седую тучу, и, крута,
взметнулась радуга над плесом,
как в жизнь широки ворота.

А рыбачишка —
до колена
на нем закатаны штаны —
все греб, веслом сшибая пену
с гривасто-яростной волны.
И ахал, видя, как — не шутка! —

летели брызги за корму.
И было весело и жутко,
и было радостно ему.

И, глядя из-под мокрой челки
на берег, он, из озорства,
орал что было сил девчонке
веселой песенки слова.

Орал, захлебываясь синью,
орал, размашисто гребя,
большим-большим
и сильным-сильным
при этом чувствуя себя.

И пусть еще нигде он не был
и мало видел — что с того! —
вот это озеро и небо —
навекы родина его.

Все-все: и эта деревушка,
и эта темная стена
лесов за нею,
и девчушка,
и дождь, и песня — все она.

Она — и стог на клеверище,
она — и пляска, как огонь,
с прихлопами по голенищам
под разлюбезную гармонь...

А впрочем, сам-то он покуда
того и не осознавал..
Летела к берегу «посуда»,
а он ей ходу поддавал.
— Раз, раз! — и лодка в травы носом.

И вот уж он на берегу
беспечно и простоволосо
бежит под радугу-дугу.

Бежит, как будто хочет диво
достать рукой.

бежит, пока
дуга, фарфорово-красива,
не растворится в облаках...

3

Мели снега. Дымились росы.
И шли дожди...
Мальчишка рос...

4

Однажды он с бригадой взрослых
попал на дальний сенокос.

На дальний — это значит

где-то

за толким местом, за рекой.

И потому, конечно, летом
туда дороги никакой.

Туда до наледи, до снега
лишь только паре лошадей
обыкновенная телега
под силу — с харчем для людей.

Зато как кончится болото,
зато как вымахнут на луг
лошадки, мокрые от пота,
и подуставшая «пехота» —

уж то-то грянет праздник вдруг!

И молодой вовек и старый —
престольный праздник сенокос.

...Телега проскрипит и станет
в тени лепечущих берез.
Тут и раскинет шумный табор
свои духмяные шатры.
К возку гурьбой подступят бабы
и сгрузят косы, тоноры,
корзины, грабли, ведра, кружки,
а мужики — котел в свой срок...
И вскоре в глубине опушки
березам белым под макушки
цыганский вымахнет дымок.

Девчата же,

звонкоголосы,

и парни, дьявольски ловки, —
не терпится, — ударят в косы
и лягут первые валки.

И он, подставив плечи зною,
как ровня, тоже встанет в ряд
и вдруг почувствует спиною
неравнодушный чей-то взгляд.
И руки каменно нальются,
и в уши вдруг ударит звон...

Но встать,

внезапно оглянуться

не сможет он, не сможет он.

Лишь всю, до капли, вложит силу
в размах широкий —

пусть она

глядит, как косит он красиво,
как осыпает дождь росинок
травы зеленая стена.

Весь мир изменит та минута!

И будет жить он, молодой,

теперь уже под этой жуткой,
в его душе взошедшей круто
и ярко вспыхнувшей звездой.

И раз случится:
в полдень жаркий
он и она, плечом к плечу,
листа смороды для заварки
нарвать отправятся к ручью.

И вдруг, как ласточка с ладони,
она помчится хохоча:
мол, догони!..

И он догонит,
и на копну ее уронит,
и... поцелует сгоряча.

Но тут же, встрепанный, с испугом
отпрянет... Сено отряхнет
с рубахи и, смущенный, лугом
за нею следом побредет
к кусту...

И, встретясь с нею взглядом
там, у куста, шепнет: «Прости».

И кисть тяжелых спелых ягод
протянет молча ей в горсти...

5

А вечером, когда с болота
туман накатится, когда
утихомирится работа,
собой довольна и горда:

когда смородиновый в кружках
чай задымится у костра
и коростель своей подружке
начнет твердить, что спать пора:

когда повиснут руки праздно —
равно у сына и отца, —
когда в них сил найдется разве
что комара смахнуть с лица;

когда леса охватит дрема
и воцарится тишина, —
легко, естественно, как дома,
родится песня, чуть слышна...

Ее задумчиво подхватит
высокий бабий голосок
и молодой, озороватый,
почти мальчишеский басок;
и дружно, строя не нарушив,
ее подтянут, как вчера,
девчата, вкладывая душу...

И он ту песню будет слушать,
недвижно сидя у костра.
И луг пред ним виденьем странным
предстанет:

в отблесках зари
стога, сокрытые туманом,
уж не стога — на поле бранном
былинные богатыри.

Они бессменно на дозоре.
У них с бровей роса течет.
Их длани на мечах...
И горе
тем, кто рубеж пересечет!

Взойдет луна. Зажгутся звезды.
И ухнет филин на сосне.
Чуть слышно белые березы,
о чем-то вспомнив в полусне,
вдруг залепечут
на забытом
древнеславянском языке...
Всхрапнув, ударит конь копытом,
плеснется рыбина в реке.
Смешаются и быль и небыль...

Но сохранит навек душа,
но будет помнить — где б он ни был! —
и этот луг, и это небо
с луной над крышей шалаша.

6

Минует год. И вновь на пожни
крик журавлей с небес стечет.
И мать, печалясь,
подорожник
ему в то утро испечет.
И хлеба припасет, и соли,
и медовухи сверх того...
И будет первое застолье
в избе родимой в честь его.

Он с праву руку батьки сядет
и чаркой чокнется хмельной
с ним — первым,
с матерью и дядей,
и всей роднею остальной.
Впервые чокнется на равных...
Отец вздохнет:

— Ну что ж, давай!

Как говорят, служи исправно.
Команды слушайся... А главно —
родителей не забывай.
А коли что, так... Понял? Грудью!
Не опозорь, смотри, отца!
Ну, дай бог, э ты я не будет...

И выпьет первым до конца.
Потом рассыплет дробь гармошка,
и выйдет он на круг: «Гляди,
запоминай, на кофе брошка!»
И покуражится немножко,
рванув рубаху на груди.

И в пол с такою силой бухнет —
пускай родня не укорит, —
что даже в кухне, даже в кухне
посуда вся заговорит!
— Эх! — Пусть отец в него поверит
и перестанет мать тужить:
он не юнец по крайней мере,
хотя еще и не мужик.
Но есть характер, есть характер
и у него! Он в батьку весь.
Пусть пожалеет председатель,
когда его не станет здесь.
Пусть, расходясь домой с вечерки,
когда снега, когда дожди,
все посочувствуют
девчонке,
вот этой, с брошкой на груди.
Не год, а три
хранить ей свято
любовь...

А впрочем, что гадать!

На одного
он будет уже, будет уже!
И пуля грозная в стволе
замрет...
Но как он будет нужен,
солдат, своей родной земле!

Ее зеленые одежды,
селенья — в пламени, в дыму...
Сегодня, более чем прежде,
она, великая, в надежде
на сыновей. И потому
он должен жить!
И через бруствер
того окопа — знай же, враг! —
где он с винтовкой встанет,
русский,
не переступишь просто так!
Мозоля руки на затворе,
еще и то ты не учел,
что с русским
в радости и в горе
сто братьев! Сто — к плечу плечо!
И ныне вот они, с ним вместе:
брат-украинец, брат-казах...

8

Но шли худые с фронта вести
в деревню тихую в лесах.

Ах, должность горестней была ли
в войну еще, чем почтальон?..
Как в избах бабы замирали,
когда входил в деревню он.

Какая им, несчастным, мука
была, зажав ладонью рот,
гадать,
когда он, до заулка
дойдя, свернет иль не свернет.
Как им хотелось, чтоб свернул он,
как было страшно, что свернет!

Как трудно было встать со стула,
когда стучал он у ворот!
Уж проходил бы лучше мимо:
надежда б все-таки была,
что жив кормилец, жив любимый,
воюет, делает дела.
А что не пишет долго — диво ль!
Бумаги нету, может стать.
А может, носит на груди он
письмо, да не с кем переслать.

А почтальон — и слаб и стар он,
ему бы греться на печи —
те извещения без марок
как будто камни волочил.

И каждый раз, как баба, рухнув
снопом,
бывало, заревет,
он говорил: «Поплачь, горюха...
Поплачь. Скорее заживет».

И выходил, толкнувши слабо
и раз и два тугую дверь...
И вновь за ним следили бабы:
к кому же он свернет теперь?
К кому же?!

И сбегались вскоре
толпой в сиротское жилье,
чтобы обвить чужое горе,
обвить, предчувствуя свое.

9

Ему б теперь пахать землю,
пахать! А он ее копал.
Оставив в пламени границу,
полк третий месяц отступал.

Но бились роты, бились роты,
порвав рубахи на бинты,
за безымянные высоты,
за деревянные мосты.

За сенокосы и за пашни,
за села и за хуторки...

И — было дело — в рукопашных
не раз кровавили штыки.

И отходили, обессилен.

«Твоя пока, фашист, берет.

Но погоди, тебе Россия
еще покажет, кляп те в рот!

Еще узнаешь ты, придурок,
умывшись кровью,

сколь она,

увеселительных прогулок
была занижена цена!

Гуляй, да помни, гад, дорожку...

Разбойничать в ее дому —

Россия этакую роскошь
не позволяла никому!»

Так думал он, ступая тяжело,
и так бодрился он, солдат.

Давно хотелось пить, но фляжка
пустая билась о приклад.
И черенок саперной малой,
свисая, стучал по бедру.
Хотелось спать, но предстояло
опять рубеж занять к утру.
А это значит, что оружие
сними с плеча, скатай ремень
да и копай, копай поглубже —
как знать, каким он будет, день.
Как знать...
И он копал, пехота,
копал, стирая пот с лица.

«Война, ребятушки, работа.
Ее — охота не охота, —
а надо сделать до конца.
Чтоб — точка, все!
Какой бы тяжкой
она и грязной ни была».

И добавлял:
«Меня в рубашке,
ребята, мама родила.
А это значит, что пройду я
весь, до конца, мой трудный путь.
И мама голову седую
еще приклонит мне на грудь».

10

Мать. Мама...
Было так однажды:
прорвавшись все же через мост,
рванулись с ревом цепи вражьи
к окопам нашим в полный рост.

И он, к плечу приладив туго
приклад и крепко сжав цевье,
почти с мальчишеским испугом
в тот миг подумал про нее.

Мелькнуло: будто бы он в доме
своем, за кондовой стеной.

И вот они, враги,
в проеме
окна... А мама — за спиной.

И будто бы рука бандита
уже наводит пистолет
в нее. И он — ее защита.
Одна. Другой защиты нет.

О, как тогда в нем кровь вскипела.
С каким он тщаньем —

«Нате вам!!!» —

прошелся прорезью прицела
по ненавистным головам!
Как заметался враг, ошпарен
свинцом!..

А он... О, как же он
был пулемету благодарен!..
И, даже взрывом оглушен,
вел бой...

И, целясь вновь под горку
из пулемета, ликовал.
И злой его частоговорке
на миг умолкнуть не давал.

И нет, не страх
(не мало видеть
ему за эти дни пришлось!) —
в его душе жила обида
в тот миг.

И гнев еще. И злость.
И в самом деле, не обидно ль,
что пришлая вот эта спесь
его решила сделать быдлом,
с хлыстом ему на шею сесть?!
Чтобы, сгибаясь перед нею,
забыл он, русский человек,
все, чем он жил...
И чем скорее,
тем лучше!
Все забыл, навек!
И потому ей надо, спеси,
под грохот бомб, в дыму разрух,
пройти все грады и все веси
и утвердить во всем
свой дух!

И коваными сапогами
примять траву над бережком,
где он косил...
И опоганить
родное озеро плевком.
То самое,
где у мосточка
сверкает рыба серебром,
где мать, повязана платочком,
идет по тропочке с ведром...

11

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Достойна славы и печали
судьба ровесников моих —
ребят,

родившихся в начале
двадцатых...
Я сейчас — о них.

В тот год, когда их колыбели
качнулись, взмыв под потолки,
еще не шубы, а шинели
носили в селах мужики.

Они вернулись в край родимый
лишь год назад — была война.
И пахло порохом и дымом
от их дырявого сукна.

О, этот запах...
Нет, едва ли
какой был более знаком
мальцам. Они его впитали,
как говорится, с молоком.

И в годы первые, и после
он, как начало всех начал,
их представления о взрослых
всего наглядней воплощал.
Он веял в лица им, бедовым,
когда — отрядом на отряд —
они за домом Марьи вдовой
играли в «красных дьяволят»,
рубали с гиком «белых гадов»...

И не было у них, мальцов,
ни булочек, ни шоколадок,
ни даже просто леденцов,
ни «ружей» и ни «пулеметов» —
стругали доски для игры...

«Люблю тебя, тебя одну!» —
ни разу не произнесенных
вслух,
 так и сгнуло в войну!

А мало ли без вас, ребята,
поблекло губ, потухло глаз
и залежалось кофт несмятых
и платьев, сшитых про запас!

А сколько хромок синемехих,
у вас гостивших на руках,
обезголосело навеки,
рассохлось в старых сундуках!

Все, все, чем юность так богата,
чем вечно молодость жива,
швырнули вы в огонь, ребята,
охапкой полной, как дрова.

Швырнули в самую середку
огня... И ваша ли вина,
что не спалила сразу глотку,
а полерхнулась лишь война?!

Что оказалось мало, мало
ей, вами пленнутой под дых,
ран ваших,
крови вашей алой
и жизнью ваших молодых?

И ты казни, мой стих, презрением
тех, кто, болтая про войну
сегодня,
 ваше отступление,
ребята, ставит вам в вину.

Да, отступали вы...
Но каждый
сто раз тот горький проклял путь!

Да, шли назад...
Но пули вражьи
вас убивали только в грудь!

И, защищая каждый город
на берегах родимых рек,
вы заслужили не укора,
а благодарности
навек!

12

И все-таки в ее заулочек
он завернул в тот день, старик.
Взглянула — и захолонуло
под сердцем, и присох язык
к зубам...

Едва хватило силы
принять дрожащею рукой
конверт...

И вдруг:

— Дедуся, милый!

Ах!.. — И к его щеке —

щекой.

И закружилась с ним в обнимку:

— Он жив! Он жив!

— Ну, дай-то бог...

И вот, посуше выбрав место,
я и пишу... Последний раз
пишу тебе... Прости, что почерк
так неразборчив,

ты должна
понять: мне часа мало очень,
чтоб все сказать...

Мне жизнь нужна!

И я спешу, спешу! И сразу ж
хочу о главном...

Минет срок —
и ты, конечно, выйдешь замуж.
(Я понимаю: я жесток...
Но ты ведь — кто тебя осудит! —
ты выйдешь, верность мне храня.)
И у тебя сынишка будет —
пусть непохожий на меня,
пусть...

Но хочу я, чтоб мальчонка
был у тебя. На все горазд...
И чтоб соломенная челка
на лбу... И крапинки у глаз.
Чтоб узнавала средь мальчишек
ты даже издали его.
И чтоб однажды он услышал
рассказ твой грустный
про того,
кто так хотел (прости мне это
признание) стать его отцом...
Да не судьба вот... Сгинул где-то.
Не важно где... Он был бойцом.

И ты... однажды ты поведай
ему, оставив все дела,
что он не дожил до победы,
но умер, чтоб она была.

Чтоб снова добрым людям в лица
ударил свет, рассеяв тьму,
чтоб он, курносый, мог родиться
и чтоб легко жилось ему.
Чтобы его утрами тропка
то в лес, то к озеру вела.
Чтоб гром гремел,
летела лодка
вперед
и радуга цвела!

Чтоб гасли молнии, как спички,
ударив в радугу-дугу.
Чтоб чья-то девочка с косичкой
ждала его на берегу...

Любимая! Прощай... И снова
кричу из дыма и огня:
Лю-би-ма-я!..
Но это слово
услышишь ты уж без меня».

13

Два... Три... Четыре года длинных
вдовела,
каменной ствола,
промерзшего до сердцевины:
чего-то все еще ждала.

В укор забывчивым и слабым
ждала... И часто, черный плат
надвинув на лоб, Ярославной
в слезах глядела на закат.

Ждала в полях, ждала в деревне,
ждала, тиха, среди подруг,

ждала, на все разуверенья
одно ответствуя:
— А вдруг!
А вдруг он жив?
А вдруг от взрыва
он увернулся? Дива нет...
И ночь его от пули скрыла,
и лес его припрятал след?
А вдруг он вышел к партизанам?

...А по ночам, под шорох вьюг,
с полузакрытыми глазами
лежала, думая:
«А вдруг
о нем вот это: «Слава... павшим...»
И значит (мысли нет больней),
и значит, я сегодня старше
его?! Почти на тыщу дней!
На тыщу дней!!!»

И лились слезы.
И, словно странница (темно),
стучала веткою береза
в заиндевшее окно...

Эпилог

Ну, вот и прибыл он, мой поезд,
к черте предельной. В добрый час!
Спасибо, друг, тебе за повесть,
что ты поведал мне в тот раз.

Я не добавил «ради темы»
ни слова, помня твой завет.
Взгляни, за рамками поэмы
осталось двадцать с лишним лет.

И то, как, с ходу взяв крылечко,
не без подмоги костыля,
ты дернул ржавое колечко
и крикнул: «Мама, это я!»

И как, не сняв еще пилотки,
спросил, подавшись весь вперед,
одним лишь взглядом только:

«Ждет ли?!»

И побледнел, услышав:

«Ждет».

И как, окрепнув помаленьку,
пошел махать косою всласть...
Как в тихой вашей деревеньке
в то лето свадьба завелась.
Как поразвихрились по дому
(«Ой, где же наши-т мужики?!»)
в тот день цветастые подолы
и довоенные платки.

И хоть кричали по старинке
все «горько! горько!» вокруг стола,
а свадьба

 больше на поминки
похожей все-таки была.

И этим только, если честно,
всем и запомнилась она.
Одна не плакала — невеста,
отныне — мужняя жена.

Счастливо, радостно, широко
глядела: милый рядом был...

И все ж никто ее упреком
и завистью не оскорбил.

Никто не бросил безрассудно
словечка грубого в тот час...
Друзья! А я, когда мне трудно
бывает, думаю о вас.

И распрямляюсь снова, светел,
глубокой верою согрет:
«Пока вы есть на белом свете —
он будет белым,
этот свет!»

Уже три года нашей встрече.
А я забыть все не могу
ни тот, с зарей в полнеба, вечер,
ни тот костер на берегу;

ни ту, под парусом, лодчонку
вдали — а даль была чиста, —
ни ту с косичками девчонку,
за ней следящую с плота;

ни ту грустиночку, что стыла
в тот самый миг у вас в глазах
о том, что все вот это было
здесь много-много лет назад...

ПЛУГ И БОРОЗДА

ПЛУГ И БОРОЗДА

Всему начало — плуг и борозда,
поскольку борозда под вешним небом
имеет свойство обернуться хлебом.

Не забывай об этом никогда:
всему начало —
п л у г и б о р о з д а.

А без начала, ясно, нет конца,
точнее, не конца, а продолженья,
ну а еще точнее — нет движенья
и, значит, завершенья нет.

Венца!

О, сколько раз мы —
век сменяет век —
успели утолить познания жажду
с тех пор, как сделал борозду однажды
и бросил зерна в землю человек.

Растут, бессчетно множась, города,
Луна
людским становится причалом...
Начало ж остается все началом;
и суть его все та же —
б о р о з д а.

Не забывай о нем у пирога
и даже перед сном, смежая веки, —
как забывают о начале
реки,
раздвинув беспредельно берега.

И если стала близкой нам звезда
далекая, скажи, не оттого ли,
что плуг не заржавел,
что в чистом поле
вновь обернулась хлебом борозда?!

Не забывай об этом никогда.

Оглядываюсь с гордостью назад:
 прекрасно родовое древо наше!
 Кто прадед мой? Солдат и землепашец.
 Кто дед мой? Землепашец и солдат.
 Солдат и землепашец мой отец.
 И сам я был солдатом, наконец.

Прямая жизнь у родичей моих.
 Мужчины — те в руках своих держали
 то плуг, то меч... А бабы — жены их —
 солдат земле да пахарей рожали.

Ни генералов нету, ни вельмож
 в моем роду. Какие там вельможи...
 Мой прадед, так сказать, не вышел рожей,
 а дед точь-в-точь был на него похож.

И все ж я горд, — свидетельствую сам! —
 что довожусь тому сословью сыном,
 которое в истории России
 не значится совсем по именам.

Не значится... Но коль неведомогу
 терпеть ему обиды становилось,
 о, как дрожать вельможам доводилось,
 шаги его расслышав за версту!

Ничем себя возвысить не хочу.
 Я только ветвь на дереве могучем.
 Шумит оно, когда клубятся тучи, —
 и я шумлю... Молчит — и я молчу.

ИВ-ГОРА

(Поэма)

I

В шлеме да в шинели беспогонной,
вшой не съеден, пулей пощажен,
удалой рубака Первой Конной,
в том году домой вернулся он.
Под вечер, отбившись от народа,
по тропинке, краем огорода
в баню наконец пришел

и там

веником — мужицкая порода! —
сам себя,

за все четыре года,

до изнеможенья исхлестал.

Выпил квасу, обливаясь потом,
сына приласкал, обнял жену...

А наутро — лесом да болотом —
к озеру, что снилось всю войну.

К озеру — в гражданскую рубашку
мягко и знакомо облачен.

К озеру — чтоб удочку, не шашку,
занести, волнуясь, над плечом.

Он не шел — летел!

Таким счастливым

не бывал уже давным-давно...

Три сосны. Ручей. Поляна. Лыва¹.

Березняк... И, наконец, о н о!

Он окинул полыми глазами
волны, лес по берегу густой,

¹ Лыва — болотина.

заводи утиные — и замер,
околдован
дикой красотой.

И услышал: рыбина плеснулась,
выводок метнулся в камыше...

И проснулось у него,
проснулось
что-то очень древнее в душе.

И шагнул он в радостном порыве
к лодочке. И поддал ходу ей.

И пока удил на ближней гриве
вовсе одичавших окуней,
и покуда ставил сеть

да ботал,
табачок раскуривал, сам-друг,
у костра —

все время это что-то
было с ним И он подумал вдруг:
«Господи, приволье-то! Пожить бы
тут... Все рядом:

выдь на полчаса —
что те ягод всяких, что те рыбы... —
И вздохнул, на елки-неулыбы
глянув: — Жаль, землицы нет — леса...
Ну да ведь и с лесом, —

вскинул брови, —
можно потягаться: не впервой!
Можно!» И качнулись шумно кроны
над его бедовой головой.

II

Все исполнил, что душа хотела,
что задумал, лежа у костра.

Тыщу дней подряд — хватало дела! —
жил, не выпуская топора.

— Ну-ка, — ахал, — сосенка, уважь-ка
мужика! —

При этом думал, рад:

«До чего же здорово — не шашкой...
Только щепки в стороны летяг!
Только стук да бряк по поднебесью...»
— Ах, уважь-ка! — снова повторял.
Землю отвоевывать у леса —
испокон в крови у северян.
— Ах, уважь! — и падали деревья,
и дымились подсеки,

и пни

дыбились...

И ахала деревня,
и круглились очи у родни:

— Диво! —

Ну а он уж ладил рамы,
гвозди загоняя обушком.

— Диво! —

А жена на жниве прямо
третьим разрешалась «мужиком».

— Ничего, Петровна... Значит, пахарь
будет, — улыбался он жене.

А у самого опять рубаха
прахом расползалась на спине.

Да и то: все дни с краюхой в поле:
левой — к плугу, правую — к вожжам...

И чего б в деревне ни мололи
про него — плевал, не возражал.

Наполнял сусеки снова хлебом,
ставил сети, веря:

никогда,

никогда еще неправым не был
труд! А он ли бегал от труда?!

Плыли годы, как по ветру лодки:
и полны заботы, да легки.
А в деревне бушевали сходки.
А в деревне, надрывая глотки,
грудь на грудь сходились мужики.
В реве, в гаме, в суতোлке, в дыме
понял он — на сходках тех не гость:
дело шло к тому, чтобы отныне
вместе «жизню ладить», а не врозь.

Вместе — значит, межи под распашку.
Вместе — значит, в кучу семена...
Ну а он, выходит, дал промашку?
Дал-таки... Попутал сатана.
На одном полночном заседанье
так ему сказали: выбирай —
иль колхоз, иль твердое заданье...
Но учти, что твердое — не рай!

Знал: не рай...
И все-таки второе
выбрал: не поддался на испуг.
— Для чего же я ломал да строил?
Для чего леса рубил вокруг?
Эку ношу взваливал на плечи —
для чего? Да ежели б знать...
Видно, я самой судьбой помечен
на единоличное житье.
Так что извиняйте. А заданье —
что ж, давайте... Коль не выше сил,
сполню. — И поднялся. — До свиданья. —
И плевком сигарку погасил.

IV

Лишь карюха, взнуданная туго,
знала — мыло хлопьями с боков, —
как он по весне на ручки плуга
налегал, мужик из мужиков;
как скрипела и рвалась упряжка,
как змеился, яростен и крут,
на ее подрагивавших ляжках
кнут ременный, торопливый кнут.
Как он сам,

запекшиеся губы
облизав («Карюха, ты прости...»),
падал, словно шашкою порубан,
наземь, чтобы дух перевести.
Падал грудью, прямо под копыта,
падал, кнут забросивши под куст...
И стекала по щеке небритой
бисеринка, горькая на вкус.
Как хрипел и кашлял он, простужен,
всей еще не ведая судьбы...
Как он был своей хозяйке нужен
в пору жатвы,
в пору молотьбы...

V

Все лицо — два глаза, два огромных:
не глядят как будто, а трубят.
— Умираю, кажется, Петровна... —
Шевельнул рукой: — Зови ребят.
— Вот, Ваня... четверо. Все в сборе.
— Плачешь? Что ж, и вправду, велика
у тебя беда... и вправду, горе
бабе... у земли... без мужика.
Ни вспахать как след, ни сжать, ни воза
уложить...

— Ванюшенька-а... родно-ой!
— Полно... Ты послушай... ты к колхозу
подавайся... Где тебе одной?!
А меня уж тут... меня на берег
отнесите — там хороший вид.
Щука там весной идет на нерест,
воду плавниками бороздит.
Там сейчас под берегом покатым
лодка... весла-т рядом, под кустом.
Вы, робя... неужто вы, робята,
это все забудете потом?
Неужель осинки да березки... —
ох, повоевал я с ними тут! —
вновь затопчут все мои полоски,
тропки все мои перебегут?
Неужели в зарослях осоки
утка снова выведет утят
и грачи, которые высоко
гнезда вили, вовсе улетят?!
Неужель меня...
— Да что ты, Ваня...
— Верно, что гадать-то наперед...
Озеро... оно к себе потянет.
Родина... она, брат, позовет.

Руку положил на подоконник:
— Вы меня подвиньте... вон туды.
Я еще, робята, не покойник...
Я еще, робя, хочу запомнить
голос поля, леса и воды...
День хочу свой крайний запомнить.
И о том лишь только пожалеть,
что не все умел на этом свете
и не все успел... простите, дети...
а ведь как спе... шил...

тишину. Фуражку снял. И вдруг
крикнул:
— Вьюши!¹ Слышишь, Дима, вьюши! —
И в недоумении вокруг
поглядел: — Но где же, интересно,
дом-то наш стоял?.. — И, поражен,
ахнул: — Лесом... заросло все лесом! —
Ахнул, будто по сердцу — ножом...

VII

Озеро —
сказать, что было ровным,
мало — было гладким, как стекло.
А на берегу паслись коровы,
а над ними марево текло.
И сверкали крыльями стрекозы
над водою, где резун-трава.
И дремал старик —
пастух колхозный
у костра, дымившего едва.
Встрепенулся, чуть они на тропку
вышли, поглядел из-под руки,
пощипал догадливо бородку:
— Да неуж Ивановы сынки?! —
крикнул.
И, не слушая ответа,
встал, затараторил на ходу:
— Не напрасно, значит, Лизавета,
тетка ваша, хвасталася: жду!

Оглядел гостей подслеповато:
— Сильно вы, робята, подросли!

¹ Вьюша — местное название чайки.

Вот, поди, Иванова душа-то
радуется:

вспомнили, пришли!

Столько лет, подумайте, скорбила...
Двадцать аль поболе? Двадцать пять?
— Дедушка, а где его могила?
— Что? Могила?.. Можно показать.

И шагнул, прикрикнув для порядка
на коров: — ...Едят вас комары! —
А потом сказал, притопнув пяткой:
— Тут вот он лежит, Иван, ваш батько,
в самой середине Ив-горы. —
И, сощурясь, лес окинул взглядом:
— Хорошо ему, робята, тут!
Ве-село!.. И берег, значит, рядом,
и кругом березоньки растут.
Ветки-то у них — ну ровно косы!..

Рад, что пригодился людям, дед
успевал и сам задать «вопросик»,
и руками всплескивал в ответ:
— Инженер?! А он, выходит, сокол?
(Будто и не слышал, делал вид.) —
Мать честная, до чего ж высоко
дерево Иваново шумит!
Аж за тучей!.. — крякнул, раззадорен,
и добавил, пальцы сжав в кулак: —
Значит, у него здоровый корень,
крепкий корень! Так али не так?!

VIII

Вот и все... Насыпан снова холмик,
и оградка — в общем, неплоха —
сделана,

и над дымком ольховым
варится «поминная» уха.

Все. И можно сесть, и оглядеться
(«Вот он, берег, выбранный отцом»),
и расслышать вдруг, как голос детства,
тихий звон коровьих шаркунцов¹,
лепет листьев,
волн ленивых всплески,
шорох камыша и за грядой
вскрики вьюш, стремительных и резких,
белых вьюш над синею водой.

А еще расслышать, вспоминая,
вешний грай над пашнею ворон
и незлое: «В борозду!» — у края
нивы, что в лесу со всех сторон,
перезвоны кос у сеновала,
стук то топора, то молотка...

Ив-гора, ты славного знавала,
доброго, по сути, мужика.

Смолоду

и молотом красиво
он умел, и шашкой наповал.

И России, чьим рожденным сыном
был,

 вовсеки худа не желал.

Все отдал ей, сколько было, силы...

И не так уж, право, ты низка,

Ив-гора,

хоть за твои осины
и не задевают облака.

Да, ты только холм у края пашен,
где старик коров своих пасет,
но с тебя... с тебя, пожалуй, дальше
видно, чем с заоблачных высот.

¹ Шаркунец -- ботало, колокольчик.

Видно: припадая к черной гриве,
конник на врага летит в седле...

Слышно по фронтам:

«Декрет о мире, —

весть из уст в уста, — и о земле».

Видно: с той «бумагой» под шинелью
топает домой мужик, небрит.

— Вызволили все ж таки! — про землю,
встретясь с мужиками, говорит.

— Взяли! — И такую чует силу,
что готов —

ему б скорей за плуг! —
распахать, засеять всю Россию,
всю страну — и не почесть за труд!
Только б зрели, только б колосились
нивы...

Да, не так уж ты низка,
Ив-гора, хоть за твои осины
и не задевают облака...

— Ну-ка, Дима, разливай ущицу!
Да достань к ущице что-нибудь...
Время нам с тобой, как говорится,
батьку доброй чаркой помянуть.
Вон ему крылом и вьюша машет,
плещут волны, травы шевеля...

Пусть тебе, солдат и землепашец,
будет пухом мать сыра-земля!

ПЕРВЫЕ УРОКИ

Сергею Орлову

Ликбез припомнился сейчас мне.
Тогда меж делом, на дому,
Учились люди... Я причастен
И сам к учению тому.
По вечерам, как на работу,
Заботу ведая одну,
Я шел учить письму и счету
Авдотью — мельника жену.
Светились избы мутным светом.
Я шел, достоинство храня,
Нарочно мимо сельсовета,
Чтоб люди видели меня.
Совсем малыш еще, нимало
Не обижался я на то,
Что мне Авдотья помогала
И дверь открыть, и снять пальто,
Даря при этом мне улыбку...
А я садился у окна
И ждал, покачивая зыбку,
Пока обрядится она.
Я ждал. Она дрова носила,
Гремела ведрами в углу.
Потом брала на руки сына
И подвигалась с ним к столу.
Смолкал, на радость мне, мальчишка,
Поймавши розовый сосок.
А я давал Авдотье книжку,
И начинался наш урок.
Урок. Теперь уж чувств тех самых,
Наверно, я не передам,

Когда впервые слово м а м а
Она читала по складам.
Когда, старания и веры
Полна, она в свою тетрадь
Писала трудные примеры:
И дважды два, и пятью пять...
Мы с нею многое умели,
Мы с нею многое могли.
Но приходил с работы мельник,
Весь, до бровей, в мучной пыли.
Авдотья тотчас убирала
Свою тетрадку и, пока
Он мылся, быстро накрывала
Нехитрый стол для мужика.
— И ты поел бы, скоро — восемь... —
И угощала пирожком.
И подпоясывала после
Меня отцовским ремешком,
Совала в руку мне конфетку...
И я, идя домой, опять
Решал, какую же отметку
Авдотье выставить в тетрадь...

МАТЬ И ДОЧЬ

Прибежала с работы
в избу, как на пожар.
Пить до смерти охота,
надо греть самовар.

Только бабе Алене
не до чаю пока:
под окошком теленок
клянчит: «Да-ай молока!»
Во дворе у калитки
коровенка мычит,
в стайке, как недобитый,
поросенок кричит,
овцы где-то пропали,
а на улице ночь...

Злится: пальцем о палец
не ударила дочь!
Кличет: — Зойка, Зоюшка! —
распахнувши окно.

А Зоюшка с подружкой
убежала в кино.
Ни к чему-то у девки
душа не лежит.
Как слышит припевки,
бросит все, убежит.
Да подальше от дому
норовит: «Веселей!»
Горе с дочкой: чужому
порадеет скорей.

Обругаешь — упрямо
отвечает одно:
— Жить по-вашему, мама,
в наше время смешно!
Глянь, что пишут в газетах:
к коммунизму идем!
Вам же — только и света,
что в хозяйстве своем.
Вам кусок бы поболе
да покрепче запор...

Ох, обиден до боли
бабе этот укор.
Потому-то Алена
каждый раз и ворчит...

Все еще не доена,
коровенка мычит.
Подхватила подойник —
и во двор... В кулаки
зажимая ладони,
потянула соски:
вжик! «Да стой же ты, дура!»
Тихо, мирно кругом.
Но Аленина дума
о другом, о другом.

Сена нет для коровы.
Сердце вот как болит!
— До чего ж неваровый! —
бригадира бранит. —
Что бы дать хоть немножко
покосить! Ни стожка,
ни единой копешки
за душой ведь пока.

Зиму долгую снова
пробивайся как хошь...
Не вести же корову
в самом деле под нож!

Репродуктор рокочет
в доме. В клубе кино
началось уже... Впрочем,
ей не все ли равно...

ЛАСТОЧКИ

И было пробужденье,
как рожденье,
как воскресенье даже!.. Я лежал
среди сарая старого на сене
(я с детства спать на сене обожал!).
Лежал, свой кров случайный изучая,
покоем наслаждаясь, тишиной,
зеленую постель свою плечами
приятно ощущая. И спиной.

Что разбудило вдруг меня так рано?
То ль дальний скрип уключин на реке,
то ль взбалмашное бляенье барана,
то ль солнца луч, подкравшийся к щеке?
То ль куры, примерявшися к гнездам,
то ль удалое пенье петуха?
А может, бригадира окрик грозный?
А может, барабанка пастуха?

Да только нет, едва ль... Я это слышать
привык... И вдруг, почти над головой,
на жердочке, где веники под крышей,
я ласточек увидел! Боже мой,
как весело там было! «Чирли-чили!»
Какой там гам стоял — не передать!
И отчего бы?! Ласточки учили
своих смешных детенышей летать!
«А ну, вот так,—мне слышалось в том гаме
а ну смелее! Экая беда...»
И с жердочки соседней: «К маме, к маме!»
манили желторотых от гнезда.

А им — о, как хотелось им за мамой
перелететь: ведь это ж так легко! —
им, глупеньким, до жердочки той самой
казалось бесконечно далеко.

Мать возвращалась и садилась рядом
и крылышки держала на весу...

А у крылечка, видимо с нарядом
явившись, бригадир шумел всюду:

— ...Ну, молодежь! Им все бы в город,

в город!

В училище, а то и в институт!

Ну да, нужны ученые, не спорю.

Но ведь кому-то надо же и тут!

Когда бы возвращались из училищ —
оно бы, верно, можно подождать...

Так ведь никто!

...А ласточки учили

своих смешных детенышей летать.

ДЕРЕВЕНСКОЕ СОБРАНИЕ

Деревенское собрание
(деревенское — заметь!)
я люблю, скажу заранее.
Я готов на нем сидеть,
коль случится, до полночи,
не вставая, как в кино.
Да оно, сказать, короче
не бывает все равно.

Коли добрая погода,
полусонные с тоски,
на собрание приходят
первым делом старики.

На порог садятся, на пол —
до собрания битый час, —
молча скручивают в лапах
тридцать три сигарки враз.
Курят мирно. Ожидают
баб: нельзя теперь без баб!
Ну, а тем напиток чаю
прежде надобно хотя б,
сделать кое-что по дому,
коровенок подоить.
Кто их в этом деле, вдовых,
к слову, может заменить?!

Наконец приходят. В кофтах,
сшитых с милой простотой,

не обижены ни ростом,
ни, конечно, широтой.
И садятся: Марья с Настей,
рядом, ладом — дочь и мать.
И верховный орган власти
начинает заседать.

Ух, собрание! Негде плюнуть,
негде яблоку упасть!
Ну, а ежели подумать —
потому оно и власть!
Тут речей не произносят,
тут, коль надо, говорят.
Тут за правду — кровь из носа,
тут в беде — за брата брат!

Как навалятся все вместе,
как поглаживать начнут
против шерсти, против шерсти —
взмокнешь весь за пять минут!
Что ни худо, где ни слабо —
виноваты мужики.
Ох и бабы, ну и бабы —
жала, а не языки!

Председатель стукнет, брякнет
по графину, по столу:
мол, давайте по порядку,
мол, потише там, в углу!
Смолкнут резко «автоматы»...
— Кто желает? — Тишина.
Смысла нет: у виноватых
без того горит спина...

Дом рубить посредине лета,
на виду у родных полей —
нет, не сыщешь — пройди полсвета! —
дела этого веселей!

В чубе — щепок летящих крошево,
блики солнышка на спине.
А на сердце — одно хорошее,
а плохое все в стороне.
Поднимайся, мой дом, как звонница,
полнись светом и радуй взгляд!
Здесь вот будет, конечно, горница,
здесь вот — комната для ребят.
(Будут! Что ты поджала губы?!
Строим дом, а не монастырь.)

Ну а здесь вот окно прорубим,
чтобы в очи и даль и ширь.
Чтоб откинула занавеску
и увидела, вздрогнув чуть,
как оттуда вон, из-за леса,
я с работы домой качу.
Чтобы вскрикнула: «Ах, Володечка!»
Мигом глянула в зеркала
и умыться мне из колодечка
холодяночки припасла.

Ну а здесь вот кипеть веселью!
В красном, как говорят, углу,
в день осенний на новоселье
мы родню соберем к столу.



Пусть поахает, подивится,
пусть порадуется родня,
пусть опробует половицы,
в пляске головы наклона,
пусть ударит частою «дробью»
вот хоть здесь, у стола, хоть тут, —
словно вкопанные не дрогнут
рюмки, капельки не прольют!

...С самой ранней зари-денницы
и до ночи я при делах.
Не топор, а перо жар-птицы
трепыхает в моих руках.
Ярок высверк его и росчерк,
будто молния у плеча...

Новый дом — это жизнь!
А проще —
это кров родной и очаг.
Это яблонька по-над пряслон,
луг недалний, в ромашках весь.
Ну а главное — это ясность,
ясность полная: жить вот здесь!

Жить вот здесь... Поливать канусту,
пробираясь с ведром меж гряд,
спать на сене...
И пусть, и пусть нам
хуже будет, как говорят!

ДОСКА ПОЧЕТА

В комнате, где косточки на счетах
шелкают весь день наперебой,
на стене висит доска Почета,
почему-то в рамке голубой.
А на ней, достойны преклоненья,
женщины. Четыре поколения!
На груди — то брошка, то медаль,
то и ничего... А на коленях —
руки — не последняя деталь!

Не в сиянье нимбов божьи лики —
смотрят на меня еще с Доски —
всемогуши в поле и велики,
более чем боги — мужики!

Смотрит на меня сама Работа.
Светлая — к чему ей позолота!
Гордая — ее я понимаю,
разбитная — все ей по плечу!
Вот она какая... Я снимаю
шапку перед нею. И молчу.

БАНИ ТОПЯТСЯ

Как под праздник, разом все
в огородах бани топятся.
Мужики домой торопятся:
наконец-то кончен сев!

Не грешно после страды
и попариться маленечко...
— А готовы ль, женки, венички?
А нашоено ль воды?
Нам бы в баньку прямиком!
Десять ден, а может, более
умывались потом в поле мы,
утирались ветерком.

Пышут жаром у реки
бани. Веники окачены.
И штаны, в земле испачканы,
скидавают мужики.
И, нырнув в жару, рычат,
чешут спины просоленные...

Как взрывчаткой начиненные,
камни в каменках трещат!
Ковш, еще два ковша
с ходу опрокинуты.
Веники вскинуты:
— Оттаивай, душа!
Ух, как хорошо! —
На полке устроился
и пошел, и пошел —
выше, ниже пояса...

А пар клубится
вокруг мужика:
— Подайте рукавицу,
не терпит рука!

Но буйствует веник,
но веник сечет:
вставай на колени,
сдавайся, черт!
И жжет и кусает
и грудь, и бока,
и на пол бросает
с полка мужика!

Ништо, отлежится.
Откройте-ка дверь.
Ему еще мыться,
тереться теперь.
Мазутные пятна
с мозолистых рук
и в бане, понятно,
отмоешь не вдруг.

Пышут жаром у реки
бани. Мыло в шайках пенится.
Спины трут себе, не ленятся,
трактористы в две руки.
Поперек и вдоль сто раз!
По домам идут, как новые.
Там их ждут — давно готовые —
самовары на столах.

Я ночь пахал и день пахал,
и вновь рычаг верчу.
Я, черт возьми, не отдыхал
и очень спать хочу.
Я знаю, что такое труд.
Но я не знал, ей-ей,
что веки могут весить с пуд,
а то и тяжелей.

Мотор гудит. Башка гудит.
Сильней гудит башка.
Ругаю на чем свет стоит
Я своего дружка
за то, что нет глотка воды,
а жажда сушит рот,
за то, что он в разгар страды
жениться вздумал, черт!

Да, да, жениться! Есть одна
в селе девчонка-звон.
Не знаю я, в уме ль она,
но ясно — спятил он.
Еще все дело впереди,
еще пахать, пахать...
Но я ему сказал: — Иди!
И перестань вздыхать! —
Вторая ночь. Второй рассвет
спешит по полосам.
И мнится мне, а может, нет,
что я железный сам.

Во мне взрывается бензин,
и бодрствуют во мне
полсотни лошадиных сил,
рожденные в огне.

Иду, дымя и грохоча.
Туман в глаза течет...
А он, наверное, сейчас
ее целует, черт.
Прилип — водою не разлить,
сошелся клином свет.
Эй, перестань меня дразнить!
Ты слышишь или нет?

И я не прочь свою обнять,
я обещался ей.
Но не привязывать же, стать,
полсотни лошадей,
когда земля поспела вся
и сеятеля ждет...
Заря, как рыжая лиса,
из-за лесов ползет.
Ползет... А сон свое берет.
Темно в глазах моих...

Но кой там дьявол рот дерет?
А, это ты... жених!

ПО ЯГОДЫ

О, этот праздник бабьего набега
За клюквой на болото Журавли!

Корзины грудой сложат на телегу,
Мешки в корзины бросят — и пошли!
Длинна-длинна дорога до болота,
Да не скучна... Идут у колеса
И языками будто бы молотят.
Пересыпая смехом голоса.

И столько тут отчаянных да храбрых,
Готовых правду резать напрямки:
Мол, что ж мы смотрим, что ж мы герпим,
бабы,

Опять всю власть забрали мужики!
Мы с вилами — они с карандашами,
Мы с ведрами — с кисетами они...
Да что ж мы, бабы, хлопаем ушами,
Не бережем, не ценим трудодни?
Все мы да мы, какая ни работа.
Пора приструнить крепко мужика!

Нет, не длинна дорога до болота.
А с разговором даже коротка.

И вот уже разобраны корзины,
Подоткнуты подола высоко,
И зубчатая, в елочку, резина
Уже следы печатает легко

На мху, где клюква, словно на подушках,
Лежит, как буби-kozyри, красна.
И оставляют женщины друг дружку,
И сразу наступает тишина.

Широко разбегаются в расчете
Скорей — гляди, чтоб кто не перебил! —
Найти такое место на болоте,
Где ягод — хоть лопатою гребь!
Не жадность подгоняет: знают твердо,
Что хватит ягод всем в болоте, но
Отстать от прочих собственная гордость
Не позволяет!
Сыплются на дно,
Подпрыгивая, мокрые рубины...

Но дрогнут руки вдруг в минуту ту,
Когда глухарь чуть не из-под корзины
Взлетит, испуган, с ягодой во рту.
— Фу, дурень экой! — провожая взглядом
Шальную птицу, женщина вздохнет.

И вновь берет. И вот уж полон ягод
Мешок. И кто-то голос подает.
— Ау, ау! — из глубины болота
доносится. — Ау! — звенит в лесу.
— Пошли домой-ой! — зовет чуть слышно
кто-то.

А кто-то ближе: — Ой, не донесу.
Ой, родненькие, лопнет поясница...
— Убавь, — кричат, — коль ноша велика!

А на дороге старичок-возница
Уже в оглобли ставит меринка.

И, глядя, как с мешками на дорогу,
Шумя, выходят женщины, ворчит:
— Ой, бабы, бабы.. Глухие, ей-богу!
Набрали — мужику не утащить!

Е. Макаровскому

Край наш — это верно, брат, —
виноградом не богат.

И земля у нас сырая,
и болота широки.

Но на свете лучше края
нет, считают земляки.

— Хорошо у нас в краю, —
сами шутят, — как в раю!

Клюквы, луку да рябины
отродясь не переесть.

А брусники, а малины
в нашем крае сколько есть?!

Веря от ворот —
вот какой у нас народ!

Плечи в сажень, грудь горою,
пальца в рот им не клади.

На работе землю роют!

Был — так видывал, поди.

Ваших, коль молва не врет,
на работе дрожь берет.

А у наших пышут лица
от жары — не похвальба, —
наши в стужу рукавицей
утирают пот со лба.

Рубят, брат, не байки бают.
Но зато и за столом
щи да кашу подметают
ложкой, словно помелом!

А когда за самовары
сядут (солено солят!),
пьют, покуда клубы пара
из сапог не повалят.

Сахар есть — внакладку пьют,
вышел весь — вприглядку пьют,
пьют с малиной, пьют охотно
с клюквой — ягодой болотной,
потому как виноград
здесь не зреет. Верно, брат!

Но ведь мы вперед глядим,
сложив руки не сидим.
Кое-где и в нашем крае
по весне цветут сады...

А короче — хватит хаять
край наш: не было б беды.

«ЗАКУРИТЬ — ДА БЕЖАТЬ»

Жил-был мужичок (не припомню, как звать)
по прозвищу: «Ну, закурить — да бежать».

Бывало, проснется — росу опекло.
И бабы, с серпами уйдя за село,

уже по суслону успели нажать...
Зевнет он: «Хо-хо! Закурить — да бежать».

И тотчас же, лежа еще на боку,
возьмет из кисета щепоть табаку

и трубку набьет, как богатый сосед
под осень зерном набивает сусек.

Зажжет, запалит, задымит в две ноздри —
хоть лопни от зависти, черт побери!

Бывало, подыметя солнце в зенит,
а трубка не гаснет, а трубка дымит.

Заборист, пахуч самосад-табачок!
Так с трубкой в зубах и встает мужичок.

Чего-то попьет, пожует на ходу
(известно, как дорого время в страду!) —

и в поле, взяв трубку с собой да кисет...
Родился ж такой «торопыга» на свет!

Однажды, едва он засел за обед,
в окошко к нему постучался сосед:

«Пожар, понимаешь... беги! — говорит. —
Овин у тебя, понимаешь, горит!»

Мужик поперхнулся, в окно поглядел,
остаток похлебки из блюда поддел,

подумав: «Беда-то какая опять».

И трубку достал: «Закурить — да бежать!»

Народ за деревню, к овину народ,
а он еще только с ведром в огород.

Воды зачерпнул, прибежал. Посмотрел —
овина-то нету... Сгорел!

...Я вспомнил о нем, просидевши вчера
в колхозной конторе часа полтора.

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

— Уезжаешь?

— Уезжаю.

— Тесно, что ль, в родном дому?

Хоть убей — не понимаю,
уезжаешь почему.

Злясь, четвертую сигарку
бригадир свирепо жег,
уговаривал доярку,
отговаривал как мог.

— Без стыда ты, Анка! Разве
я тебя не уважал?

Или заработок мал?

Или не в чем выйти в праздник?

Иль в душе запал пропал?

Уезжать

в такое время!

Все невзгоды позади...

Ты сама-то посуди:

получила десять премий,

двадцать, может, впереди!

Повернулась к бригадиру,

чемодан толкнув ногой:

— Ты меня не агитируй,

бесполезно, дорогой! —

По избе как ветер дунул —

шаль рванула со стены: —

Понимаешь?.. Зря ты думал:

мне не премии нужны.

Не наряды... Что в них толку?
Перед кем, позволю спросить,
этим штапелем да шелком,
уважаемый, форсить?
Коль в деревне, не соврать бы,
нет гармонии ни одной,
коли праздники и свадьбы
нас обходят стороной?

Клуб у черта за болотом,
нет отрады никакой...
Надоела не работа —
скука! Понял, дорогой?
Да притом я не старуха
и как будто не урод,
чтоб остаться вековухой
из-за премий ваших, вот!

Бригадиру даже жарко
стало. Пятую сигарку
завернул и прикурил.
И, не глядя на доярку:
— Ты права... — проговорил. —
Ты права. И все ж рискованно
поступаешь. Посуди:
женихи-то дома скоро
будут... Слышала, поди?
Свадьбу справим, да такую,
что одна на белый свет!
— Вот тогда и потолкуем.
А сейчас охоты нет.

Встала возле чемодана:
— До свидания... — И вдруг
опустилась. Зарыдала...

Бригадир вздохнул устало,
смял сигарку о каблук.

ЧЕРЕМУХА НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ

Ее, молодую, из лесу когда-то
хозяин в деревню принес на плечах.
Он вырыл ей яму железной лопатой,
он полил ей корни водой из ключа.
И встала черемуха рядышком с домом,
и любо ей было занятие одно:
места по карнизам зеленым подолом,
пахучей метелью швыряться в окно.
Да терпкие ягоды — много ли, мало —
дарить ребятишкам в ладони... Но вот
однажды ни окон, ни дома не стало,
один лишь бурьян по соседству растет.
Куда ни протянет черемуха руки —
зовущие руки, — кругом пустота.
Ей снятся калитки знакомые звуки,
ей грезится окон резных высота,
и песня про горы златые, и говор,
и топот, и хромки лихой перебор...
Вот так и хозяин, уехавший в город,
наверно, тоскует о ней до сих пор.

Мать приехала в город к сыну.
Нет, не в гости на этот раз.
На высокий этаж насилу
с сыном под руку поднялась.

Полпролета пройдет — и станет,
воздух меряя на глотки,
не снимая с перил усталой,
в синих жилах, большой руки.

Глухо сердце больное билось,
а ступеньки все вверх вели.
И чем ближе до неба было,
тем все далее от земли,
по которой, чтобы скорее,
столько хожено босиком...

Просто ль жить ей теперь над нею,
словно облако, высоко?

И едва отошли морозы,
стало солнышко припекать,
«Как-то в нашем теперь колхозе?» —
вслух однажды вздохнула мать.
К шуму города безучастна,
стала тихой — не ест, не пьет.
Словно старую птицу, властно
потянуло ее в отлет.

Сын балкон распахнул: гляди, мол,
мама, город растёт какой!
Талым снегом пахнуло, дымом
домен, выросших над рекой.
Небо заревом полыхало...

И сказала она в ответ:
«Пароходы пошли, слыхала...
Ты б купил мне, сынок, билет».

Стихи мои о деревне,
и радость моя, и боль!
Кто зову земли не внемлет,
едва ль вас возьмет с собой
в дорогу — развеять дрему...
Глухому к земле, ему
стихи про Фому-Ерему,
сермяжные, ни к чему.
Томов со стихами — груда.
А в тех, говорят, томах
что ни страница — чудо,
что ни куплет, то ах!
Новаторские, блестящие,
строка о строку звенят.
А вы, мои работающие,
в пыли с головы до пят.
Не очень-то вы нарядны
и — где уж там! — не модны
Вы будничны, не парадны...
И все-таки вы нужны,
я верю тому, кто в поле
упрямо растит зерно,
чьи с коих-то пор мозоли
в стихах поминать грешно...
Старо и неблагозвучно!
Да полноте, остряки!
А ваши-то белы ручки
не потому ль мягки,
что эти не в меру каменны —
не руки, а жернова!

В мозолях все, как в окалине...
Нужны ли еще слова!
Добры, горячи по-русски
и грубы на первый взгляд,
корявые эти руки,
красивые эти руки
и впрямь чудеса творят!
Держите ж голову гордо,
стихи мои! Мы и впредь
о них, не жалея горла,
хоть в поле, но будем петь!

РАБОТА

Мой дядя — отменный коваль. Но знает любой
в колхозе,
что, если нужда заставит, он сможет поставить дом,
и печку сложить сумеет, и сможет согнуть полозья,
да так, что перед народом
не стыдно будет потом.

Над самым мудреным делом он весел и самовластен:
кует — молотком играет, стругает — как песнь поет.
Глядят на его работу и ахают люди: «Мастер!»
А «мастер» хохочет только,
со лба утирая пот.

За что ни возьмется дядя — одна у него забота,
чтоб вещь не уродцем хилым глядела, а молодцом!
Бывает, кивнув на что-то, он скажет: «Моя работа!»
И вещь улыбнется будто,
довольная кузнецом.

Таким я его и помню — с веселым огнем во взгляде...
Он шлет и теперь мне письма из наших краев тухих.
Большие, как щепки, буквы: рука тяжела у дяди.
Читаю: «Недавно видел
работы твоей стихи.

Поскольку племянник пишет — прочел до последней
строчки.
Добро поработал, парень, скажу тебе... Молодец!»
Держу я перед глазами с каракулями листочки,
как будто держу награду...
Спасибо тебе, кузнец!



Спасибо за то, что труд мой

ты, знающий цену пота,
ты, ведающий усталость, которая валит с ног,
ты, мастер, — горжусь я этим, —

без скидок назвал работой,
которую тоже трудно, как всякую, делать в срок.

Спасибо тебе, герой мой, читатель и добрый критик!

Я верю тебе. И счастлив я буду, когда смогу
сказать о стихах, не прячась:

моей работы, смотрите!
И глянуть в глаза открыто товарищу и врагу!

«Ох ты, ресторан мой, ресторанчик,
полюй от снегов и до снегов,
сколько на углях твоих горячих
я испек железных пирогов!
Сколько лет, корпя над делом всяким
под твоим дырявым потолком, —
в бога, в душу! — я не вилок брякал —
брякал по железу молотком.
Сколько раз под лязганье металла,
с той поры, как кончилась война,
на твоём полу меня шатало,
не совру, шатало без вина.
Может, кем-то это и забыто...
Но не мною, нет! Была пора,
ставил я коней на все копыта,
а случалось — ставил трактора!»

...Ставил. Точно.

Он, кузнец, ни капли
тут не привирал. И потому
перед ним порой ломали шапки
даже преды — кланялись ему!

«Выручи, Васильевич!» И взглядом
ели: понимали что почем...

И в сельмаг — он, благо, с кузней рядом —
посылали за магарычом.

Наливали до краев хмельную
чарку — чтоб не только по усам...

И спасал им дядька посевную,
хоть самих порой и не спасал...

И менялись преды — год от году
чаще, без особенной возни.

Дядька же — ковал! Ему отроду
не было замены, черт возьми!

Летом ли, зимою ли — ковал он!

Ну и, в пику бабьему суду,
пил в железку, «долговязый дьявол»,
пил у полрайона на виду.

Я, случилось, письменно и устно
бил его за это наповал,
бил по самолюбию, по чувствам,
к совести и к разуму взывал...
«Видишь ли, Сережа, — отвечал он
шуткою на проповедь мою, —
дело в том, что силы воли мало,
ну а водки много... Вот и пью».

Я в ответ жестокие примеры
приводил: «Подумай, старина!»
«Так ведь с ней и думать-то, с холерой,
некогда... Бездумная она!
А вообще-то, думать — дело ваше... —
И швырял окурок за плечо. —
Я ведь у железа — не у каши.
Мне ковать, покуда горячо!»

II

...И опять гулянка в доме дядьки.
Всей деревне слышно, как бомбят
белый пол под ярый звон трехрядки
трое рослых дядькиных ребят:
Шурка с Вовкой — двое довоенных,
старших, с шевелюрой негустой,
и Сережка — младшенький,
в Елену,
в мать... По счету ежели — шестой.
Сразу видно: он и есть причина
сабантуя в доме кузнеца.
Ты развейся по полю кручина —
в армию забрили молодца.

Пляшет, свесив голову хмельную
перед мамой:

— Мама, не суди!

Уезжаю в сторону чужую...

Ты поплачь у сына на груди.

Батя бьет с досадой по колену
пятерней:

— Сережка, не травми
сердце матке! Слышь?!

А ты, Елена,

словно красна девка не реви!

Где там!..

Накатило — не уймется,
знай глаза углом платочка трет...

Да и самому ему не пьется
нынче, да и водка не берет.

Он вздымает руку над застольем,
но дрожит предательски рука:
дядька провожает не шестого
в армию —

последнего сына.

Чокается: — Выпьемте, ребята! —
не уняв по-прежнему руки. —

Значит так, Сережка: ты — в солдаты,
ну а мы, выходит, в старики.

Ну а наше времечко на убыль...

И вообще: вдвоем во всей избе!

Вот что ты, смехач наш белозубый,
натворил! Не совестно ль тебе?! —

Шутит дядька.

Хочет скрыть, что горько

на душе, а сам о том опять:

— Двое остаемся, мать... А сколько
было их у нас — не сосчитать!
Этот в зыбке,
те вдвоем на печке,
эти под тулупом на полу...
Ну а летом, окромя крылечка,
богатырский храп в любом углу:
и под пологами на сарае,
и на потолке без пологов...

Этакая музыка играет
на заре, бывало, — будь здоров!
А проснутся — ставь чугуны картошки
и в придачу хлеба каравай.
А обедать сядут — все по ложке
зачерпнут, и снова подливай!
Ну а если в баню — сто одежек
припаси, такая ведь орда.

Ах, ребята, как вы быстро все же
разлетелись
из гнезда!
Да хотя б поблизости, по селам...
Так ведь нет... Такая, знать, пора.

— Хватит разговоров невеселых,
батя! Нету худа без добра! —
Шурка подмигнул братанам: — Нету!
Зря ты тень наводишь на плетень.
У тебя ведь, как наступит лето,
праздник в доме чуть не каждый день!
Тот с женой,
тот с внуком-шпингалетом
прикатил... И встретить, и проводи.
У тебя все лето на столе-то
харч не деревенский, погляди.
Постоянно в кадке бродит пиво...

Родине, конечно, будет любо.
Ну а нам-то с маткой каково?!

Днями и бессонными ночами
нам не знать тогда забот иных:
всех вас шестерых жалеть,
в печали
писем ожидать от шестерых.
Шурка перебил: — Опять ты, батя...
Ну не тронь ты этого, не тронь...

Замолчал. Вздохнул:
— И верно, хватит.
Хватит! Будем петь. Бери гармонь! —
Ахнул («Хорошо, стервец, играет!»)
и запел, подавшись весь вперед:

«Елена меха раздувает,
а Ваня железо кует...»

Песня на мотив, что знает каждый.
А слова — всего один куплет —
сами из груди его однажды
вырвались... И лучше песни нет
для него с тех пор.

Ведь так бывало,
что жена — и это не пустяк! —
в самом деле пламя раздувала,
ну а он ковал... Бывало так!
А порой брала — хватало духу! —
и кувалду и лупила: н-на!..
К дому ж (он сворачивал в чайнуху)
шла, гремя кирзовыми, одна.

Шла, почти бежала: к дому, к дому!
(«Пастухи, наверно, пригнались».)

И цеплялись на ходу к подолу
Колька, Ленка, Васька — заждались.
А Сережка, головой кудельной —
весь в нее — белея впереди,
ревмя из тележки самодельной
на руки просился...

— Погоди,
погоди, сынуля... Вот Пеструху
подою да загоню овец...
Васенька, а ты беги в чайнуху —
он тебя послушает, отец...
Только ты не бойся... Он за стопку,
ну а ты...
— Я крикну: дем домой!
— Правильно... Чтоб денежки без толку
он не тратил больше, батька твой.

...Может, это вспомнилось Елене,
может, что другое — не понять.
Уронила руки на колени,
глянула зареванно опять
на застолье...
Дядька, тяжелея,
издали Сережке покивал:
— Плачет... А с чего?..
Тебя жалеет!
Потому как дома не жывал
настояще... То ты в интернате,
то ты в этом самом ПТУ...
А теперь вот в армию укатишь...
Жалко — доведись тут хоть кому.
Ну да ладно... — Он гармонь потрогал
и сказал — отец, глава семьи: —
Вот что... Попляши-ка ты, Серега,
мать в остатний раз повесели!

И когда Серега встал и бухнул,
он, окинув взглядом молодца,
крикнул:

— Эх, сюда б еще Колюху
да и Леньку из Череповца...
Всех! И пусть бы грянула, ретива,
на полу на этом молотьба,
пусть бы, — он притопнул, — раскатилась
батькина по бревнышку изба!
Рухнула бы, словно от тарана...
Только б —

мне таиться не с руки! —
знали все, какие у Ивана
выросли ребята-мужики!
Уж они пойдут — так без оглядки...

Всей деревне слышно, как бомбят
белый пол под ярый звон трехрядки
трое рослых дядькиных ребят.

ДУМЫ ПАХАРЯ

— А о чем размышляешь ты, пахарь, когда,
в чистом поле оставив орудья труда,
наконец засыпаешь, угревшись в тепле?

— О земле.

— Ну, а после, в предутренний час тишины,
когда ты надеваешь, зевая, штаны,
а деревня, и поле, и лес — все во мгле?

— О земле!

— А в обед, обретя наконец-то покой,
когда ложку берешь ты одною рукой,
а другой — свежий хлеб, что лежит на столе

— О земле!!

Очень думы мои широки: от реки,
где в покосах мои интересы, до леса,
из которого ходит медведь на овсы
в те часы,
когда влажны метелки овса от росы
и ни звука во всю ширину полосы...

— В чем, по-твоему, пахарь, земли красота?

— В тучном хлебе, которым она занята!

И зимой моя дума об этом,

и летом,

с ней я в поле на тракторе еду

с рассветом.

Ведь красива земля — в этом нету секрет —
та, что сердцем — не только лучами —
согрета!

Сердце ж копит тепло лишь тогда,
когда рядом
уживаются в нем и забота и радость!

РАЗДУМЬЯ В ПОЛЕТЕ

Расположившись в мягких креслах,
летим... Смешно сказать: летим!
Опять приносит стюардесса
бифштексы нам, и мы едим.
И запиваем крепким чаем,
и дым пускаем в небеса.
И что летим — не замечаем,
не ощущаем. Чудеса!

Земля под нами еле-еле
плывет в разводах облаков...

О господи, как тихо едем!
Как тут не вспомнить рысаков!
— Эгей, родимые! — вожжами
тряхнет ямщик и — понесли,
тревожно прядая ушами,
вдоль-поперек самой земли.

Перевернут — не дай бог, круто
рванутся в сторону!.. А тут
всего пятнадцать верст в минуту.
Везут тебя и не везут.

И ни столба, чтобы заметить,
как ты несешься, ни куста...
Все относительно на свете:
размеры, скорость, высота.

И ты, поэт, свою вершину
преодолев, не меряй, брат,
успех свой собственным аршином,
не торопись на марш-парад.
И преждевременной победой
не упивайся, в рог трубя...

Такие ль
прадеды и деды
вершины брали до тебя?!

Все относительно на свете...
И все ж приятно свысока,
прикладываясь к сигарете,
смотреть вот так на облака —
не снизу вверх,
букашкой сущей,
не так, как смотрят на карниз,
а самовластно, всемогуще
и потрясенно
сверху вниз!

Читаю книжицу изящную —
аж скулы ломит: не могу!
Как будто на воду стоячую
гляжу, присев на берегу.

Молчит вода, забита тиною.
Лишь иногда пузырь всплывет,
да за букашкой, противная,
лягушка с кочки сиганет —
и снова тишь...

Измучен дремою,
встаю, не дочитав листка.
И слово русское, ядерное
само слетает с языка.

Ого, словцо!
Острее лезвия,
оно сверкнуло над прудом,
как лаконичная рецензия,
и очень точная притом.

И вновь поверилось, поверилось,
что есть и реки и моря.
И вновь уверенность, уверенность
рванула на борт якоря!

И значит — в путь!

И значит — в плавань!

Наперекор ветрам — туда,

где в борт высокий — это главное! —

живая плещется вода!

ОКНАМИ НА ЗАРЮ

Памяти отца — земляника и солдата

1

Нет, не форточку, раму бы высадить впору —
вот такая в квартире теперь духота!

Собирайся, сынок! И поедем за город,
навестим наконец-то родные места.

Собирайся! В рюкзак —

только блесны да ножик...

Масло? К черту его! Колбаса? Не нужна!

Есть корова у тетки. И если поможем
ей поставить стожок, не обидит она.

И, пожалуйста, мать, не держи человека.

Пусть поедет! Пора ему знать наконец,
что заглавной фигурой у хлеба не пекарь,
не короной увенчанный продавец.

Ну, а кто — мы о том потолкуем особо...

А сейчас проводи-ка мужчину за порог.

Два билета!

И мчит нас бывалый автобус,

так сказать, с ветерком за речной поворот!

Низко стелются травы. Штормует дорога.

Мельтешат на щитах — только глянешь в окно —

разноцветные цифры... А мало ли, много
означают те цифры, — понять мудрено...

Да к тому же пылит, пролетая, машина.

Но гляжу я, гляжу...

Мне все кажется: вот
перелесок проскочим, а там —

«До Берлина

сорок пять километров осталось. Вперед!»

Сорок пять до Победы... А сколько же, трудных,
позади их осталось! Считай — не сочтешь.
Сколько раз поднималась и падала грудью
на горячую землю высокая рожь!

Нет, дорога в деревню —
не к тылу дорога.

Нет, деревня сегодня — не тишь да покой.
Как от дота до дота, от стога до стога,
здесь бескровный, но яростный катится бой!
Из атаки в атаку — не падают, держатся
косари. Раскален добела небосклон.

Бой победно гремит! Возвращаются беженцы
и срывают прогнившие доски с окон.

И стучат молотки здесь у каждого дома,
и моторы дымят, и в ходу топоры...
Вот что значит деревня!
А вы мне: солома,
да коровы еще, да еще комары...

Здесь в безмолвных озерах свирепствуют щуки,
обжирается спелой малиной медведь.
Взять корзину бы в руки! Но заняты руки:
осыпается рожь. И пшеница, как медь.
И «скрипит», припотев, допотопная бабка
на льняной полосе. Как-никак, человек...
Вот что значит деревня!
А вы мне: рыбалка,
да с малиною чай, да на сене ночлег...

Здесь по три да четыре избы на посаде,
здесь по десять девчонок на парня
в бригаде.

Здесь проблема разлуки да скуки сейчас
есть одна из великих проблем для девчат.
И не диво. До клуба порой от избушки
не дострелишь из пушки: и лес и ручей...
Вот что значит деревня!
А вы мне: частушки,
да любовные вздохи, да скрип дергачей...

Нету старой деревни! Кого нам обманывать?
Моргунка тоже нет. Уработался. Спит.
Нет! И строит деревня сегодня
все заново:
избы, клубы, дворы, психологию, быт.

Эта стройка невидная —
жметя к лесам она, —
но великая тоже! А может, в ряду
тех, великих, она
есть великая самая!
Понимаете, что я имею в виду?

И нужны ей сегодня не только прорабы,
да проекты, да планы — ей руки нужны,
чтоб заделать хотя бы... вот эти ухабы —
вот такой ширины, вот такой глубины.

Руки, да! Молодые притом и влюбленные
в эту стройку...

И к черту «небось» да «авось»!
Вот она! Вся, как есть, золотая, зеленая,
вся пропахшая стружкой да сеном насквозь!

Это стройка, скажу я вам! Это картина!
А простор-то какой! Даже робость берет.
Мачты полем шагают. Бушует плотина.
Белым прочерком в небе над ней самолет.

Высоко-высоко! Старичок на подводе
бороденку задрал, приподнял козырек...
— Эй, шофер, тормози! Мы приехали вроде.
Вот черемуха наша... и дом наш, сынок.

2

В этом доме я знал все на память, на ощупь:
кухня, сени, четыре ступеньки крыльца...
Скинь-ка шапку, малыш мой!
Ты видишь воочью,
так сказать, родовое поместье отца.

Ни кола ни двора. Лопухи да крапива.
Сядь на этот вот холмик — тут печка была.
А вот тут, от крыльца, начиналась тропинка,
та, что первый мой шаг на себя приняла.
Сядь. Мне многое надо припомнить...

Не весь он,
пепел, что под ногами, остыл.
Хоть не раз
здесь метели гудели и дождь куролесил, —
не остыл, не развеялся он, не погас.
До скончания века он — пепел тот — с нами...

Что же вспомнить сейчас, что тебе рассказать?
...Утро в нашей избе начиналось блинами.
С пылу — прямо на стол! Успевай подбирать!
Мама рада была, коль мы ели в охоту:
— Каковы на еду, таковы на работу!

Понимала, что нам не руками махать
уготована доля, а землю пахать.

И уже приучала.

Впервые бороздку
проложил я, наверное, лет десяти.

В тот же год я имел уже косу по росту,
не сбиваясь, умел в пять цепов молотить.

Топотали цепи на снопах, как по нотам.
Улыбался отец, наставляя сынка:
— Коли взялся работать, работай до пота,
а без пота работать — валять дурака!
Мол, земля лежебоку зазря не одарит,
мол, ее не обманешь ты, как ни умен.
— И пеняй на себя, коли пусто в амбаре! —
ударяя цепом, приговаривал он.

Ну, и верно: работал он с пылом и жаром,
то косою махая, то плуг волоча.
И недаром, икон поубавив, недаром
прилепил он к простенку портрет Ильича.
Посветлело в душе.
Были праздником будни.
А в селе про колхозы ходили слушки.
Да не верил: мол, это когда еще будет,
а сейчас надо сеять да жать, мужики.

Он из тех был, отец мой, кто знал себе цену,
кто в удаче на свой лишь хребет уповал.
Летом дом подрубил —
вставил в каждую стену
по четыре бревна,
перекрыл сеновал,
хлев приделал к двору, а потом у дороги
начал строить овин...

А ему нет да нет:
— Понапрасну, старатель, мол, силушку тробишь,
все колхозное будет! — пророчил сосед.
— Что ж, — отвечивал, — начал, так надо

поставить.

А колхоз... Поглядим! Коли дело пойдет,
я, как старый журавль, не отстану от стаи...
— Ну, готовься тогда. Недалек перелет!

И сбывалось пророчество, было похоже.
Наезжал из райцентра Кирюха-матрос,
приходила газета, и та все про то же
толковала деревне моей — про колхоз.
Повторяла одно через каждую строчку:
не уйти мужикам от нужды в одиночку.
Сами знали, что так. Понимали, что надо,
а решиться... Поди-ка, решишь. Маета!
Там, где сам передом, — баба глупая задом...

Все ж осмелились!
Первой пошла бедпота.
Добровольно! На страх мироеду Хмырову!
Вот она, революция! Хлеб закопал
толстосум, подпалил самолично хоромы,
постонал: подожгли, мол, его... И пропал.

А в деревне — нужда стопроцентная сводка —
за полночную сходкою новая сходка.
Поначалу без баб — так велось искони, —
а потом, чуть прослышат, бегут и они.
Соберутся — потеха! Что крику! Что реву!
А о чем — не опишешь сегодня пером.

Жалко было коня, жалко было корову,
и саней было жаль — хоть руби топором!
Как же вынести было, к примеру, такое:
запряжет кто-нибудь не спросясь — и айда!
Ведь мужик — скопидом. Он по-своему скроен.
Но о том ли печалиться было тогда?!

Кто-то вслух:

— Не распаривши, дуги-то гнете.

И вообще мы не против... а все ж подождем. —

Но Кирюха-матрос —

он учился на флоте
«уговаривать» контру — стоял на своем.

Сто процентов — и ша! И смолкали, как рыбы,
мужички на скамьях.

«Агитацию» ту

после стали уже называть «перегибом».

А тогда, брат, она подводила черту
всем дебатам.

И бычились пахари лбами

в темных избах, и жгли до рассвета табак.

Непростая задача: минуя предбанник,

прямо в баню попасть. Было все-таки так.

3

Председателем первым избрали Степана.

Безлошадника. Страсть был какой боевой!

Вел дела неказисто. Зато неустанно

раздувал на планете «пожар мировой».

Говорун был, частоха! Начнет о навозе,

а закончит пожаром... Аж горло сорвет.

Грамотеев-то было не густо в колхозе,

и народ — что поделаешь, — слушал народ.

Как-никак голова! Первый в доме хозяин.

Мужики ко всему относились всерьез.

А работали как! На миру-то нельзя ведь
осрамиться...

Бывало, придет сенокос —

стар и мал на лугах. Позабыты постели.

Бабы, как на гульбе, —

сарафаны пестры.

И звенели малиновым звоном, звенели

наостренные косы, дымились костры.

Упирвала артельная каша на ужин.

И ребята — просторно у них в шалаше —

на сенце молодым целовали подружек.

Жизнь такая ребятам была по душе.

Да и старшим, пожалуй...

Все было в новинку.

Отличился — почет, худо сделал — позор.

В стенгазете, бывало, такую картинку

поместят, словно выстрелят в совесть, в упор!

Новь свои утверждала в деревне законы.

Нету рая на небе — и в щепки иконы!

Неучение — тьма, а учение — свет,

а за партой рядком с молодайками — дед!

И открыты детясли — работайте, жинки!

И всем праздникам праздник отныне — дожинки.

Пир, как есть на весь мир!

Чуть не сорок столов.

Приписали еду семь да семь поваров.

Под навесом берез, на лужочке зеленом,

угощали с двух рук, подносили с поклоном,

что смогли наварить, что успели напечь...

«Голова» выдавал громобойную речь:

«Мол, сдадим! Не подгадим районную сводку!

Мол, заткнем «мировой буржуазии» глотку

полновесным, ударным колхозным мешком!

— Тольки так! — И о стол ударял кулаком.

И чего-то еще о кулацком охвостье
говорил. И косил на районного гостя
взгляд...

И видел, что речью доволен был гость.
И гремели ладони, и пиво лилось.
И кому-то гармонь сумасшедше в яро
разминала суставы. И стыла еда...
Пели. Жгли самосад. Не жалели о старом.
Дескать, дружно — не грузно, а порознь — беда!

О, погожее лето далекого года!
Принялся и расцвел в это лето цветок
новой жизни. И каждый его лепесток
был тогда выражением веры народа.
Веры в то, что отныне извечному страху
пред нуждой
не селиться уже росамахой
по углам да щелям скособоченных хат,
что беде уже нету дороги назад!

И какие же были нужны цветоводы,
чтоб ни яд сорняков, ни капризы погоды
ни пригнуть, ни сломать тот цветок не смогли,
чтобы рос, набирался он сил от земли.

4

Что же после? Еще пролетело два года.
Крепко врезался в память мне этот денек.

Мать выносит горшки.
У крылечка подвода.
Младший брат мой ликует: ему невдомек,
что не к бабушке в гости сегодня мы едем...
Грустно смотрят на нашу работу соседи.
И ребята. Особенно Надька, Налеха...

Мы всю зиму сидели за партой одной.

— До свиданья! — сказал я.

А Надя со вздохом

за косичку взялась, повернулась спиной

и, помедлив немного, схватила за руку
одноклассника Кузю — и вон со двора!

Эх, и мне бы...

Но все приближало разлуку:

и растерянность мамы, и стук топора...

Вот уж поднят сундук. Вот закрыты замки.

Вот уж гвозди вгоняет отец в косяки...

Слепнет дом. Нет, отец на него не в обиде.

Просто хочет, чтоб он совершенно не видел,
как мы тронемся с места, чтоб дом наш не мог
вслед нам, как человек.

бросить горький упрек.

Было солнечно, вешне. А мы уезжали.

Хмурясь, дергал отец поминутно вожжами.

У него от земли под ногтями черно.

У него на душе, как в подвале, темно.

Споро мерин идет. Мы с брательником с воза,
озираясь, глядим на владенья колхоза.

Тут вот батька пахал. Замахнется кнутом:

— Ну ты, черт! — И земля из-под плуга винтом.

Там вон дергала лен наша мама. Бывало,
не присядет поесть: ей все мало, все мало!

И писал бригадир, почесав в голове,

ей под вечер не палочку в книжку, а две...

Ликовала она!

А вон там, за рекою,

батька подсеки жег. И случилось такое:

вспыхнул жарко валежник. И вдруг из огня поднялась, испугав не на шутку меня, — кто б ты думал? — тетерка.

Ширяя крылами дым горячий, она пролетела над нами.

Батька глянул, жалея, ей вслед тяжело и промолвил: — С гнезда сорвалась. Припекло.

И застыл, пораженный. И долго глядел он на огонь, навалившись на кол обгорелый... — А вон там... — вдруг припомнил еще что-то

брат,

приглашая меня оглянуться назад. —

Там... — И смолк, удивлен:

на вершине увала,
от телеги отстав, наша мама стояла.
К чужедальней дороге стояла спиной,
гореванно прощалась с родной стороной.

Оторвало от берега льдину-судьбину,
понесло, потащило, крутя, на чужбину,
мимо детства, девичества, бабьей поры;
мимо нив, что не очень бывали добры,
мимо круч горевых, островочков надежд,
и гуляний и песен, что пелись допрежь.

Что случилось — едва ли она понимала.

Не бывало такого в роду, не бывало!

Как же так: при земле

уезжать от земли?

«Передумай!» — давали совет журавли.

«Ведь не поздно еще!» — стрекотали сороки.

«Возвращайся скорей!» — убеждали грачи.

И сжималось сердечко от этой мороки:

что же, господи, делать-то ей, научи!

А страна избяная

и гордо и просто

в те года расставалась решительно с прошлым.

Медногорлые громы снимала с церкви,
на каблук подковаться желая скорей.
Дорывала последние лапти без горя
и сама, без подачек чужих из-за моря,
там и тут, подтянувши потуже ремень,
возводила цеха на виду деревень.

И была ей любей не рубаха под пояс,
а рабочая блуза, железная статья.
Комсомольск-на-Амуре и Северный полюс —
все ей надо постичь, все ей надо достать.

Выше! Дальше! И не было поэмой геройство.
О, она понимала, круша и творя,
сколько взглядов — и добрых, и злобных,
и просто
любопытных
за нею следят с Октября!

И понятною гордостью первой на свете,
молодая, она увлеченно жила.
За себя да еще за идею в ответе,
на такие она замахнулась дела!..

И дошли до села громовые раскаты
этих дел, и взорвали извечную сонь.
Что там плуг, борона! Что овины да хаты,
коли есть Днепрогэс!
И уже под гармонь
пареньки из залесных халуп да заречных —

не бывало такого еще на веку! —
на рабочих окраинах «Песню о встречном»
запевали, спеша на завод по гудку.

А за ними, наметаясь всерьез в инженеры,
присобачив замки к сундучкам из фанеры,
уезжали учиться совсем сорванцы...
И не смели перечить ребятам отцы.
Где там! С радостью даже ребят провожали.
И пахали, и сеяли после, и жали
за себя, за сынов...
И приятную весть
получив из доселе неслыханных мест,
улыбались в усы: хорошо, мол, сыны!

А сыны не жалели себя для страны!
А сыны с деревенскою дюжей ухваткой
грохотали киркою, играли лопаткой,
трамбовали бетон в основаниях домен...

И, пожалуй, немножко грустили о доме,
где все глуше, хлебнувши расстанной беды,
вечерами звенели гармошек лады.
И безрадостней стали зимой посиделки.

Примирились с изменами старые девки.
Кавалеры теперь приезжали в село
только летом, чтоб выйти — и грудь наголо,
чтобы, пыль подметая штаниной широкой,
поразить деревенщину модным фокстротом,
опустевшую избу продать на дрова
и уехать, сказав «До свиданья» на «а»...

6

Я позднее и сам приезжал. Я и сам
белозерского «ленчика» в церкви плясал.

И под куполом самым, забыв про грехи,
декламировал с жаром чужие стихи!

И особенно хлестко
про паспорт серпастый.

Ритм железный скреплял я движеньем руки,
доставал из штанины свой паспорт и хвастал,
хвастал так, что глотали слюну мужики.

Приходили теперь и они вечерами
в клуб кино посмотреть, от работы устав.
Богохульно звенела гармоника в храме
до полночи, под галочий гвалт на крестах.
Их не сразу свернули: все дня не хватало.

Я любил посмотреть с колокольни окрест.
Поредели посадки, овинов не стало
и заметно к посадкам придвинулся лес.
И поскольку они поредели, посадки,
все трудней управляются с полем бригады...
Мужики же, глядишь, задирают носы,
потому как у Федора — летчиком сын,
у Ивана — врачом, у Петра — капитаном...

Как приедут домой, как тряхнут капиталом —
полдеревни в хмелю!

Крепок хмель даровой:
ни рукой шевельнуть, ни тряхнуть головой.
Восседает под образом, ширясь плечами,
дорогой гостенек:

«Как патрет! Как начальник!»

Не чужой и не свой уже в отчете дому...

И стыдятся девчата-дойрки ему
протянуть пятерню: не бела, не мягка
и не в меру, к тому же еще, велика.

Отдавал он войне все, что поле рожало, —
до зерна, до куска...

И солдаты, бывало,
замечали: не солнцем, не летней грозой
пах тот хлебушек трудный, а горькой слезой.

Кто растил-то его? Ребятишки да деды,
да солдатские мамы, да женки солдат...
О, как долгод был, пахарь, твой путь до победы!
Даже страшно сейчас оглянуться назад.

И когда отгремели за Одером пушки
и остыл, разряженный последним, свинец,
человек, говоривший с акцентом по-русски,
похвалил за терпенье тебя наконец.

7

Дверь открыла и — ах!

И рукой по подолу:
— Да ужель это вы? — И сама не своя,
привечая гостей, закружилась по дому
Маремьяна Васильевна — тетка моя.
Береженую скатерть на стол! И за чашки.
Миг один — и уже водружен самовар.
Нараспашку окно. Нараспашку рубашки.
Пляшут зайчики в блюдцах. Над блюдцами—пар.

Я гляжу: как просторно, как прибрано в доме.
Уж не восемь ли лет все одна да одна
Маремьяна Васильевна — горюшко вдовье —
проживает. И в том не виновна она.
Детки все разлетелись. А муж ее — Яков —
и вернулся домой, да израненный весь.
Но не сдался! Остатнюю силушку на кон
всю поставил:

стонать, мол, велика ли честь!

На собрание каком-нибудь, припоминаю,
кривда губы кусала до крови при нем!
— Пусть я, — скажет, бывало, — огонь вызываю
на себя. Ничего... Я бывал под огнем!

И начнет «выкладывать».

Был похож он на дерево,
расщепленное молнией. (Стоя оно
умирало... Но твердо в бессмертие верило,
молодыми побегами окружено!)

Было Якову трудно, но бился, не охал!
Потому, даже в те непогожие дни,
проросла его вера Кузьмой и Надехой —
как и сам он — партийцами стали они!
Переняли от Якова, став коммунистами,
неунывность его и его прямоту,
и его молодую в работе неистовость,
и безмерную к людям его доброту.

Умер вскорости он. Ненадолго хватило.
Умер Яков —

едва ль не последний мужик
из немногих, вернулись которые, было...
Умер, руку одну на живот положив.

Я вздыхаю. И памятью горькой растроган,
достаю «Беломор», придвигаюсь к окну...
Тетка мне: — Да кури... Мужиком хоть немного
будет пахнуть в избе-то! Кури не одну.
Сам-то вон как дымил... —

И замолкла. И прямо,
не мигая, глядела с минуту она.

Отдыхать на сарай отвела нас: жара, мол,
да и мухи в избе-то... А тут — тишина.

Он ли, пахарь, тебя разлюбил, обленясь,
ты ль над ним вековую утратила власть —
неизвестно. Но ясно,

какая-то жила
между ним и тобой в ту весну порвалась.

Слишком много на эту неслабую жилу
было в те времена удалого нажиму.
Кто картошку едал — все брались мужика
просвещать, наставлять и толкать под бока.
И пахать-то его обучали, и сеять,
понукая при этом его, ротозея...
И добро б агрономы, а то «знатоки»
из конторы «Утиль», например, из музея...
То и дело в деревню вострят башмаки!

Пешка пешкой иной ведь в масштабах конторы,
а приехал в колхоз — полководец Суворов!
Трактор стал — и Суворовы все тут как тут!
Ну, а толку-то что? Только пашню умнут...
А могли б, животы надорвать не рискуя,
трактор тот на руках отнести в мастерскую!

Но они тракториста берут в оборот.
Кто-то сводкой тряхнет, кто-то вынет блокнот.
Кто-то болтик иль гайку какую для вида
тронет пальцем и вытрет его о платок..
И туманит глаза тракториста обида:
— Не марались бы вы... Отступили б чуток.

Да и то:
хлебороб — он же издавна знает:
мать сырая земля не от сводок рождает —
от любви неизменной!
В ответ на любовь
отдает она людям зеленую кровь!

И да здравствует эта любовь!
Лишь она
украшает колосьями землю. Одна!

9

Сенокосит деревня.

Уставшие за день,
вновь блаженствуем мы в деревенском раю.
Теткин дом — он четвертым стоял на посадке,
а сегодня он первым стоит, на краю.

А сегодня за теткиным домом — околица...
И не первое лето, с тоски без ума,
там, где раньше стояли другие дома,
синим далям по-вдови черемухи молятся.

И глядят на дорогу и верят, неистовы,
что к весне мужики возвратятся сюда,
наострят топоры, срубят избы смолистые,
и запахнет дымком,
как в былые года...

Ах, черемухи!

Лучше вам с долею трудною
примириться:

иные пришли времена.

И не будет деревня уже многолюдною,
потому что моторною стала она.

Но и все ж
мне близка и понятна, деревья,
ваша грусть.

Я и сам до сих — не солгу —
к той тележной, бедовой и горькой деревне
очень нежные чувства в душе берегу.

Не она ли — она меня, малого, скоро
понимать научила — не вытью одной, —
как он, хлебушко-батюшко, пахарю дорог
и как сладок, поскольку он хлеб трудовой.

У нее я учился премудростям чести,
прямоте: да — так да,

или нет — так уж нет!

Благодарен я ей, деревушке в залесье,
и за сказки ее, и за песни...

Ах, песни!

Я люблю их и помню с мальчишеских лет,

То печальные, как завывание вьюги,
от которого — знаете? — дрожь по спине.
То веселые очень, как ливень в округе,
из-под радуги ливень. И гром в вышине!

Ох, как гнулись под песенки те

половицы!

Русский хмель — он такой:

коли бросило в круг,

надо пол проломить,

или об пол разбиться,

или высечь огонь каблуком о каблук!

Руки в стороны: — Эх! — Ходуном вся изба,
Словно в этой избе не гульба — молотьба.

Не умела деревня — характерец чертов! —
ни в полсил работнуть, ни в полгорла хлебнуть...
Я вас помню, гулянки, я знал вас, вечерки,
знал... И словом худым не хочу помянуть.

Худо, что ли, как кони летели по кругу,
пронося, словно радугу, полем дугу?!

Не могу я,

по памяти, словно по лугу,
проходя,

наступать на цветы не могу!

Понимаю, что к старому нету возврата,
отзвенели твои бубенцы навсегда,
деревушка...

Но так ли уж ты виновата,
чтобы все зачеркнуть, чем жила ты тогда?!

Много дикости было?

Да, было. Допустим...

Но и все же, какой бы она ни была,
та деревня,

понятие гордое: русский! —
в полной мере она осознать мне дала!

Да, она! Хоть об этом ее не просил я.
Это после пришло... И когда я кричу,
что деревню люблю, — это значит, Россия,
я тебе в этом чувстве признаться хочу!

Ты иная сегодня. Ты в космос врубилась...
Но и громом ракетным встречая свой день,
я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла,
что когда-то ты вся началась с деревень.

10

Мы гостюем у тетки уже две недели.
Молока — хоть залейся. И кашу не делим:
и наутро горшок, и на вечер горшок —
мы поставили все-таки тетке стожок!
Невелик он — а все же к «процентам» подмога.
Так уж рада она! Мол, надейся на бога,
ну, а сам... И потуже затянет платок.
Тетка — баба не промах. Гроза! Кипяток!

По земле — никому ничего не должна —
по-хозяйски ступает сегодня она.

И касается всякое дело ее,
и суждение о деле у тетки свое.

Как с Надехой — моею ровесницей вкупе —
вы б послушали, тетка толкует о культуре
и о чести еще, и о честности, да!

Как жалеет она прожитые года!

И хоть в пенсию верит, — не очень хлопочет:

Мол, писать не могу, неразборчивый почерк.

Заслужила — дадут, мол. Не те времена...

Да и в те-то не кланялась очень она!

На усадьбе у тетки, как джунгли, ботва.

Ну, и клевер, конечно. Не просто трава.

До чего ж он высок!

Стебли словно веревки!

И хотя мы на совесть отбили литовки,

застревают, как будто в отрепье, они.

Р-раз! — и сдайся назад.

Два! — и вновь потяни.

— Вот что можешь, земля, ты! — дивлюсь я,

махая. —

А еще говорят про тебя, что плохая,
что скупая у нас ты... Да это ж брехня!

Вижу, тетка с улыбкой глядит на меня:

— И в колхозе сей год клевера-то ди-кушшие! —
говорит мне она. — А ведь чуть не порушили!

Приезжал по весне тут один... енерал.

На Кузьму-бригадира уж так напирал!

А Кузьма — ни в какую! Дойдет до ответа —
все одно повторяет: «Согласия нету».

Ну, а если, мол, он для успеха помеха,

если ведает тот, как прямее проехать,

пусть садится и правит... Бригаде нужна
не красивая сводка — мол, грош ей цена!

Я смеюсь: веселит меня теткин рассказ.
Ах, Кузьма! Ну, Кузьма! Даже слезы из глаз!
И молчал ведь...

А сколько о чем ни попало
толковали мы с ним вечерами, бывало.
Сядет рядом, достанет кисет да газетку,
чуть не с палец сигарку свернет — и начнет:

— Ты бы вот что, писатель, себе на заметку
взял... Да ты не спеши: ты послушай вперед.

Ну, вот сев, например.

Да, горячее время.

Ни поспать, ни побриться... Поскольку страда!

И покудова в землю не брошено семя,
хоть до пояса пусть отрастет борода —
пахарь плуга не бросит, земле не изменит...

Это, знаешь, в крови у него. Испокон!

Ведь земля ему — высшая власть и спасенье!

И не зря ее ласково матушкой он
величает,

как сын, ей покорен до гроба!

И пустая им тяжба совсем ни к чему:

он ли служит ей вечно, она ли ему?!

В узел издревле накрепко связаны оба!

Трудно, да,

но и радостно это служенье.

Без упреков, без клятв, без биения в грудь...

А теперь — коли сев, то, конечно, «сраженье»,
коли жатва, то «битва»...

Послушаешь — жуть!

Шуму, треску! Гляди, телефон разорвется.

И приказ, и указ... И еще шелкопер
из газеты...

И все призывают «бороться».

С кем бороться — не ведаю я до сих пор.

Да и некогда, знаешь ли: столько работы!

Впрочем, может, не дело совсем говорю...

И смутится, конечно:

— Да брось ты... Да что ты! —

Если я его вдруг от души похвалю.

Мол, какой он философ!.. И в шутку добавит:

— Темнота ведь, деревня! —

— Ну да — темнота!

Темнота, да не та, — не скажи, брат, — с зубами!

И конечно, такая она неспроста...

Он и сам это знает. Он все понимает!

Он о будущем даже не прочь помечтать.

И мечтает! А чаще считает, считает...

Все в деревне теперь научились считать.

Мы сидим на валке посредине участка.

Шмель летает. И маковки медом сочатся.

Трактор улицей прет, тянет сани большие.

И горой на санях бревен меченых воз.

Кто-то дом перевозит.

Видать, на отшибе

под завязочку, как говорят, нажилось.

Слышу:

— Ставить под вашей черемухой ладит...

— Что же, место веселое! — я говорю. —

Дому тут и стоять: в самом центре бригады,

да и окнами, кроме того, на зарю! —

И на миг представляю...

Нет, вижу сквозь время

этот дом и черемуху эту в цвету,

вижу клуб (не церквушку уже) —

подхватив, приподнял

и у ног положил.

И опять распрямился...

Погодой хорошей

в пору страдную эту Кузьма дорожил.

ОТ КРЫЛЕЧКА

...стартовали от крылечка.

Из статьи критика Н.

Да, я стартовал от крылечка!
И этим, мой недруг, горжусь!
Крылечко,
да русская печка,
да сани, да в бляшках уздечка —
сама изначальная Русь.

Расправив могутные плечи
и смутных желаний полна,
на небо и землю
с крылечек
веками глядела она.

Поскольку была избяною
и сплошь земляною была,
поскольку, добавлю, иною
пока она быть не могла.

Замученной ей, но живучей,
как сын,
заглянув в старину,
ни лапти ее, ни онучи
вовек не поставлю в вину!
Напротив,
я буду все боле
дивиться — изыдь, сатана! —
как в этой жестокой недоле
душой не зачахла она.
Как в ней совместились счастливо —
и в этом ее высота! —
незлобивость
и совестливость,

достоинство и прямота!

Земля, над которою

вместе

с конягой пластался мужик,
его не учила ни лести
(пусть лучше отсохнет язык!).

ни лжи, ни торгашеству...

Не был

он мастер купить и продать.

Умел он — свидетелем небо —
насытиться квасом да хлебом
и нищему корку подать.

Забитого,

долготерпением

корить ты его погоди.

Запомни, что точка кипенья
высокая в русской груди!

И, право, тебе забывать бы
не след, говоря о былом,
кто рушил с Емелькой усадьбы,
со Стенькою шел напролом.

Кто, чашу терпения выпив,
по Зимнему вдарил плечом...

И гнев тот

октябрьский

Великим

историей был наречен!

И рухнуло рабство!

И с треском

кругом послетали замки...

И к гневу тому, как известно,
причастны в лаптях мужики!

Громили они супостата,

рубили, оставив дела...

Выходит,
крылечко для старта —
площадка не так уж мала...
Не так и не истинна, к слову
(как ты мне о том напевал!):
мой тезка русоголовый —
Есенин —
с нее ж стартовал!

СОДЕРЖАНИЕ

О себе	5
--------	---

ОНА НЕ СКАЖЕТ...

Монолог природы	9
Она не скажет...	12
К озеру	22
Летний дождь	26
Княжица	30
Последний парад	32
Три сосны	33
Чем дальше в лес...	34
Глухарь	36
Медведь	38
Картошка и цветы	40
Зимняя дорога	41
Кисть рябины	43
Пили из речки кони...	49
Зерно	52
Земля	53
И моя заслуга!	58
Весенний базар	60
Огонь	62
Эта грань	64

ЗАЛЕТОЧКА

1. На сенокосе	67
2. У перевоза	68
3. Перламутровые ряды	69
4. Боевая	74
5. Желание	76
6. Пускай говорят	77
7. Соперница	78
8. Без веры	80
9. Чтоб не раздуло ветерком	81
10. Измена	81
Не найти такой березы	83
Ревность	84
У реки	86
Бабушкины песни	88
Русские сказки	91
Утром	93
Я вышел к стогу	96
Не пляшут...	98
Возвращение из деревни	102
Пишите письма матерям	105
«Той киргизской дружеской вечеркой...»	106
Она мне матерью была	108

ПАМЯТЬ

Баллада о хлебе	113
Расплата	116
Парад Победы	118
После войны	119
Вороны	121
«Начать бы так стихотворенье...»	124
Рождения 1945-го	126
Когда сыновья на войне	129
Отцу	132

Не пришедшим с войны	133
Девчата	135
Осень в березовой роще	138
Перекур	140
Про бабу Груню	142
В защиту стариков	146
Когда солдат целует знамя	149
Читая историю	151
Стрела на тетиве	154
Новогодний тост в кругу ветеранов Великой Отечественной войны	156
Россия	158
Одна навек	162

ПЛУГ И БОРОЗДА

Плуг и борозда	189
«Оглядываюсь с гордостью назад»	191
Ив-гора	192
Первые уроки	203
Мать и дочь	205
Ласточки	208
Деревенское собрание	210
Поднимайся, мой дом...	212
Доска Почета	215
Бани томятся	216
Когда женится друг	218
По ягоды	220
Разговор с понутчиком	223
«Закурить — да бежать»	225
Перед дорогой	227
Черемуха на деревенской улице	229
В городе	230
«Стихи мои о деревне...»	232
Работа	234

Песня о кузнице	237
Думы пахаря	246
Раздумья в полете	248
«Читаю книжицу изящную...»	250
Окнами на зарю	252
От крылечка	279

Сергей Васильевич
ВИКУЛОВ

РОДОВОЕ ДРЕВО
Стихи и поэмы

Редактор *А. Меньков*

Художник *В. Нагаев*

Художественный редактор *Б. Мокин*

Технические редакторы

В. Кулагина, Н. Децко

Корректоры *М. Доценко, О. Голева*

ОПЕЧАТКА

На переплете ошибочно дано «Цена в балакроне 1 руб. 70 коп.»
Следует читать: «Цена в ледерине 1 руб. 70 коп.»

Сдано в набор 14/II 1975 г. Подписано к печати 2/VII 1975 г.
A10731. Формат изд. 70×90^{1/2}. Бумага офс. № 1. Печ. л. 9.
Усл. печ. л. 10,53. Уч.-изд. л. 10,09. Тираж 50 000 экз. Заказ
№ 2585. Цена книги в ледерине 1 р. 31 к.; цена в балакроне
1 р. 23 к. Цена пластинки 15 коп.

Издательство «Современник»
Государственного комитета Совета Министров РСФСР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Фабрика офсетной печати
управления издательств, полиграфии
и книжной торговли
Волгоградского облисполкома.
Волгоград, ул. КИМ, 6

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзваться о книге — ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении — направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»